

Глаза колдуна

Автор:

[Ксения Хан](#)

Глаза колдуна

Ксения Хан

#ONLINE-бестселлер Теодор Атлас #2

Ирландия, начало восемнадцатого века. Обвиненная в колдовстве травница Несса умирает на костре. Чтобы спасти ее маленькую дочь Клементину, убитый горем Серлас уносит ребенка в соседнюю деревню и ищет возможность уплыть за пределы страны. Какая-то сверхъестественная сила помогает беглецу, убирая с дороги всех, кто мог бы ему помешать, и Серлас подозревает, что дело в дочери Нессы и колдуна, которую он поклялся защищать.

Англия, наши дни. Теодор Атлас снова остается один – юная Клеменс с матерью возвращается домой во Францию. Вскоре после ее отъезда Теодор узнает, что он – не единственный, кто наделен даром бессмертия. Неожиданный союзник сообщает, что Клеменс в опасности, и Теодору необходимо срочно отправиться во Францию, чтобы таинственный враг не добрался до девушки раньше него...

Ксения Хан

Глаза колдуна

© Ксения Хан, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

В оформлении использованы материалы, предоставленные фотобанком Shutterstock, Inc.

Ксения Хан – автор романа "Хозяин теней".

#17. Незнакомец с лицом Данте

Художественная галерея внутри похожа на античный дом аристократа. Белые стены напоминают мраморные, а колонны отбрасывают косые тени на закате. В дни выставок и аукционов здесь столько картин, скульптур и мелких предметов антиквариата, что галерея превращается в царство, где правит бал искусство, а человек становится неважной деталью и теряет свою значимость перед легендами прошлых столетий.

Обычно девочку не пускают в аукционный зал во время подготовки к мероприятиям, но сегодня особенный день. Она огибает пузатую вазу бутылочного цвета на высоком гранитном постаменте, потом старательно обходит ряд стульев со спинками, увитыми резными виноградными лозами. Она запинается всего раз, когда до кафедры остается пара шагов.

– Клеменс, что я тебе говорил? – спрашивает отец, выходя из комнаты позади зала. Сейчас там, вокруг бюстов ученых разных столетий и монархов Великобритании, начиная с Елизаветы I, толпятся приглашенные сотрудники из Оксфорда.

– Я хотела взглянуть на все твоими глазами, – просто отвечает Клеменс. Генри невольно улыбается, и вся напускная строгость исчезает с его лица.

Он подходит к помосту, на котором установлена кафедра, – позолоченная табличка с именем, только недавно привезенная из мастерской, все еще лежит на столике рядом и ждет своего часа, когда сможет сверкать под прямыми лучами нескольких софитов во всей своей красе. Выбитые буквы лаконично гласят: «Генри Карлайл, смотритель».

Клеменс гладит металл двумя пальцами и задумчиво разглядывает тонущее в позолоте отражение люстры под потолком, высоко над ней. Сегодня ее папа впервые будет вести аукцион. Сам, лично, без ядовитых комментариев мистера Лиддла, которые тот выдает столь высокомерно, что даже ей не нравится его слушать.

А завтра они с мамой улетят из Англии навсегда.

Чтобы не портить себе вечер грустными мыслями, Клеменс сердито трясет головой и взбирается на помост, проезжая коленками по грязному кафельному покрытию. Генри, охнув, спешит ей на помощь.

– Клеменс, ну что же ты... – ворчит он. – Белыми колготками всю пыль собрала, смотри.

Дочь упрямо надувает губы и встает, оказываясь с отцом лицом к лицу. Все-таки кафедра у него высоко стоит. Генри поправляет подол ее светло-зеленого платья и отвлекается, чтобы встретить внезапного посетителя.

Клеменс самостоятельно шагает к кафедре и стучается лбом о ее деревянный бок. Ей не хватает двух футов, чтобы увидеть то, что обыкновенно видит организатор аукциона: девочка низкая, и все, что открывается ее взгляду, – это дощатая поверхность кафедры, покрытая темным лаком, вытертым двумя продольными полосами. «Это они ее коленками так вытирают», – думает Клеменс.

Пока она разглядывает оставленные прошлыми зрителями следы, Генри тихо переговаривается с кем-то, кого Клеменс не видит. Ей слышны только мягкий голос отца, растекающийся по пустому залу глухим эхом, и низкая прерывистая речь незнакомца.

– Я слышал, выставляете сегодня несколько картин прерафаэлитов, – говорит тот. – Могу я взглянуть на них до аукциона?

– Это невозможно, – смеется Генри и тут же обрывает себя. – Простите, вы, должно быть, не знакомы с порядками нашей галереи. До тех пор пока лоты не пройдут тщательную проверку, мы не имеем права показывать их обществу. А вы к тому же не собираетесь оставаться на аукцион. Верно?

Клеменс выглядывает из-за кафедры и видит только спину человека, темно-синее тяжелое пальто на его плечах и руку в черной кожаной перчатке. Он кивает ее отцу и отходит к задним рядам стульев.

– Пап, – зовет Клеменс, – помоги мне.

– Ох, Бэмби! – спохватившись, вздыхает Генри и идет к дочери. – Прости, малышка, сейчас мне не до игр с тобой. Ты не могла бы присесть на стул и подождать, когда я немного освобожусь?

Клеменс кивает со всей своей серьезностью, которую переняла у матери и деда, и дает снять себя с помоста. Генри по привычке одергивает ее платье, а потом удаляется в дальнюю комнату к музейным сотрудникам и их экспонатам. Клеменс слышала, что аукцион будет благотворительным и все средства от выручки за ученые бюсты пойдут на реставрацию музея в Оксфорде.

«Наверное, это очень важно, – заключает Клеменс, садясь на стул в первом ряду, прямо перед помостом. – Иначе папа бы провел этот вечер со мной, раз уж мы уезжаем».

Она рассматривает ставшую привычной кафедру (раньше за ней выступал противный мистер Лиддл, но его, к счастью, перевели в другой город, и теперь он не будет указывать отцу, что делать и говорить). Когда это ей надоедает, она переводит взгляд на голые стены, оборачивается, чтобы проследить за ползущим по колоннам солнечным лучом, и натывается на незнакомца в темно-синем пальто.

Он сидит в самом дальнем от нее углу, скрестив руки и склонив голову, и, похоже, дремлет.

Клеменс рассматривает его с жадным любопытством, поскольку ничего более интересного в зале нет. У незнакомца темные волосы, спереди чуть длиннее, чем со спины, и они одной тяжелой прядью спадают на его лицо, закрывая правую скулу. Клеменс не может знать, какого цвета его глаза, но думает, что они темные, как и весь он. Слегка загорелая кожа, что в здешних местах редкость, выдает в нем приезжего. Девочка кивает самой себе и радуется, что смогла провести целую логическую цепочку, судя только по внешности незнакомца.

Она хочет подойти ближе, чтобы рассмотреть объект своего внезапного интереса и завершить мысленный эксперимент в стиле Шерлока Холмса, но что-то ее останавливает. Мама всегда говорит, что она должна быть вежлива и тактична, ибо вежливость – доспехи леди. А подходить к незнакомому мужчине и разглядывать его во все глаза, пока он спит, было бы крайне некультурно с ее стороны.

Так что Клеменс, преодолевая собственное желание, уже зудящее в копчике, остается сидеть на своем стуле.

И вскоре к ней выходит Генри. За ним, пыхтя и потя, два молодых человека несут картину в золоченой раме. Клеменс вскакивает, чтобы рассмотреть ее, прежде чем поверх холста упадет тяжелая вуаль и скроет от посторонних глаз.

На картине мужчина в черных одеждах и венке из зеленых листьев смотрит на женщину в красном платье. Позади нее шепчутся одинаковые подружки, но Клеменс даже не обращает на них внимания, впиваясь взглядом в выражение лица человека в черном. У него смуглый орлиный нос и смуглый точеный подбородок, а глаза из-за тяжелых век кажутся сонными. Они темные, как его волосы и одежды.

– Нравится? – спрашивает Генри, и Клеменс, не отрывая взгляда от картины, быстро кивает. – Это написал один из ярких художников девятнадцатого века, Данте Габриэль Россетти, – поясняет он любопытной дочке. – Здесь он изобразил встречу Данте – только не себя, а того, что написал «Божественную комедию», – и его возлюбленной Беатриче в раю.

– Они оба умерли? – ахает Клеменс.

– Да, только ему пришлось пройти девять кругов ада, чтобы вновь встретиться с любимой.

Молодые сотрудники тем временем ставят картину на треногую подставку и, выдохнув, кивают Генри. Тот снимает с крайнего стула в первом ряду темное полотно, но, прежде чем накрыть им картину, дает дочери пару минут ее рассмотреть.

– Он не выглядит счастливым, – заключает наконец Клеменс, склонив голову набок. Черты лица так приглянувшегося ей человека с картины кажутся почти живыми, но какими-то грустными. Ей неожиданно нравится то двойственное чувство, что возникает внутри нее при взгляде на картину в золоченой раме. Словно она видит заключенного в полотно живого человека, который никак не может вырваться на свободу и играет роль, уготованную ему художником.

Словно он один из героев ее видений, что прячутся по ночам за пустыми картинными рамами в галерее отца.

– Россетти часто изображал в своих работах Данте и Беатриче, его любимую, – говорит Генри тихо, видимо, боясь спугнуть восхищение Клеменс. Но она хмурится и качает головой.

– Мне не нравится, как он на нее смотрит, – заявляет наконец дочка. – Он совсем не рад ее видеть.

Генри смеется, и его мягкий смех эхом отдается во все углы выставочного зала.

– Он прошел девять кругов ада, чтобы встретиться с ней, Бэмби.

– Думаешь, он просто устал?

– Наверняка устал.

Клеменс кивает со знанием дела и отходит к ряду стульев, наблюдая, как Генри закрывает картину плотной темной тканью. Теперь загадочного мужчину и его даму Клеменс не увидит до самого вечера, когда картину покажут всем гостям. Девочка слышала из разговоров взрослых этим утром, что первый лот должен

быть очень дорогим и организаторы аукциона надеются выручить за него большие деньги. Это ведь он?

Клеменс уже не кажется странным, что за одни полотна некоторые люди готовы выложить огромные суммы, а к иным работам относятся с пренебрежением. Например, в прошлом году какой-то коллекционер выкупил маленький пейзаж за несколько тысяч фунтов, а большой, ростом почти с нее, картине пришлось искать место в галерее, потому что никто не захотел приобрести ее за приличные деньги.

– Па-ап, – зовет Клеменс, когда Генри в очередной раз проходит мимо нее с планшетом в руках и бормочет под нос приветственную речь. Он волнуется, но Клеменс, погруженная в свои фантазии, замечает лишь то, что отец на нее не смотрит. – Ну папа! Послушай же!

– Что, олененок?

– Слушай, – заговорщицки шепчет Клеменс. – Я тут подумала... А тот человек с картины, ну, Данте, он давно жил?

Генри морщит лоб, так что его очки сползают с переносицы на кончик носа.

– Давно, Клеменс, – отвечает он. – Прости, мне нужно еще решить пару вопросов. Посиди тут тихонько, хорошо? Я вернусь, как только улажу все проблемы.

Отец удаляется из зала, оставляя шумных оксфордских сотрудников в дальней комнате и дочку в полупустом выставочном зале. Клеменс сосредоточенно болтает ногами, сидя на стуле в первых рядах, а потом воровато оглядывается. Спящий незнакомец в темном углу никуда не делся и продолжает вызывать ее любопытство. Она отмечает впалые щеки мужчины и угловатые плечи, обтянутые темно-синим твидовым пальто, а потом, пока никто из сотрудников не видит, сползает со своего места и идет к забытой отцом картине на подставке.

Она только разок взглянет на Данте – всего раз, чтобы убедиться, что ей не показалось. Похож ли спящий человек на изображенного на картине? У них схожи глаза, с одинаковыми тяжелыми веками, и острые носы. А еще скулы обоих кажутся восковыми из-за нездорового цвета кожи. То ли незнакомец сбежал с картины, то ли его брата поместили внутрь рамы и запечатали в

полотне.

Так ли это?

Клеменс осторожно приподнимает уголок тяжелого покрывала за самый край.

- Эй!

От внезапного окрика молодого работника музея она вздрагивает, а спящий в тени человек просыпается. Клеменс отпускает ткань и смущенно пятится.

- Не трогай тут ничего, - строго предупреждает молодой человек и, для верности окинув девочку сердитым взглядом, возвращается к своим коллегам. Дверь в комнату приготовлений он оставляет открытой, чтобы можно было следить за маленькой дочерью зрителя галереи.

Клеменс надувает губы и оборачивается.

Незнакомца нет на прежнем месте.

Она вертит головой и, осмелев, бежит к последним рядам стульев, где до этого он спал. Его нет. Ни следа, как будто он испарился, не сходя с места.

«Волшебник!» - думает Клеменс и восхищенно пятится обратно к помосту с кафедрой, не сводя глаз с того стула, где сидел неизвестный.

«Я тебя запомнила!» - мелькает в ее голове шуточная угроза, которая забывается ближе к началу аукциона.

Всплыть ее воспоминаниям суждено спустя год, когда Клеменс, впервые блуждая по Лувру с дедушкой, вдруг видит того же Данте на другой картине Габриэля Россетти. Смуглая кожа, тяжелые веки, из-за которых взгляд кажется то ли сонным, то ли высокомерным. Высокий и худой, с острыми скулами и острым же подбородком, орлиным носом и тонкими длинными пальцами.

Табличка временной выставки гласит: «Данте Габриэль Россетти. Видение Данте. 1856 год. Холст, масло».

«Привет, Данте-незнакомец!» – улыбается Клеменс мужчине с полотна и, отстав от недовольного дедушки, подходит ближе к картине, почти наваливаясь на толстый заградительный шнур перед нею.

«Я тебя знаю, – упрямо думает девочка, глядя снизу вверх на смуглое печальное лицо человека с картины. – Я тебя знаю».

В ее закрытый блог нет доступа никому, даже матери – тем более матери. Так что комментарий, появившийся однажды вечером под одним из постов (собранные в ряд Берн-Джонс и два Уотерхауса), становится для Клеменс настоящей неожиданностью.

«Если ты ищешь человека с полотен прерафаэлитов, – тут же высокомерно заявляет таинственный посетитель, – то не с того начинаешь поиски».

Клеменс выгибает бровь и хмыкает. Каков наглец! Влез в чужой блог, еще и учить вздумал!

«Откуда знаешь, что я кого-то ищу?» – Клеменс сердито барабанит по клавиатуре первую половину вопроса, прежде чем вспоминает, что мать запретила ей сидеть в Интернете допоздна. Сейчас на часах половина второго. Если Оливия узнает, что дочь в такое время не спит и даже не зубрит очередной конспект по международным отношениям, то Клеменс сильно попадет.

«Нетрудно догадаться», – лаконично сообщает нарушитель ее покоя. Клеменс злится.

«Что тебе нужно в моем личном блоге?»

«Хочу помочь в поисках. Ты же думаешь найти человека с картин, да?»

«Ты либо больной фанатик, либо глупец. Модели прерафаэлитов давно мертвы».

Клеменс останавливается и, переведя дыхание, добавляет:

«И я никого не ищу. Мне просто нравятся эти картины».

Таинственный комментатор не отвечает минут десять, и за это время Клеменс решает, что он слился. Недоделанный хакер. Идиот, возомнивший себя всезнайкой.

Который, как ни странно, вдруг разделяет ее больные фантазии.

Следующее сообщение приходит спустя полчаса, когда Клеменс уже думает выключать ноутбук. Зевая, она читает комментарий вполглаза.

«Так ты видела его вживую?»

Ответить или нет? Сочтет он ее сумасшедшей – или разделит мнение, что загадочный незнакомец прерафаэлитов все еще бродит по свету? Вместо того чтобы написать хакеру «да», Клеменс печатает:

«Что ты об этом знаешь?»

И он присылает фотографию.

«Похож? Если скажешь, что он не Тот Самый, многое потеряешь».

Клеменс в немом ступоре разглядывает черно-белую фотокарточку целых пять минут. На ней – отряд из семи человек, все в форме американской армии времен Вьетнамской войны, лица скрыты тенями от касок. В руках у каждого – ружье, в ногах стоят солдатские рюкзаки. Военные смотрят прямо на Клеменс, двое щурятся, один моргнул. Но среди этих лиц выделяется одно.

Надменный взгляд из-под полуопущенных тяжелых век. Нос с кривой переносицей – видимо, ломали не раз и, скорее всего, во время службы. Острый подбородок, худые и оттого еще более выделяющиеся скулы. Смуглая кожа, темные волосы.

Мужчина стоит позади всех и смотрит поверх голов своих сослуживцев лениво и небрежно, как будто вот-вот закатит глаза и отвернется.

Она бредит или человек с фотографии и тот, что изображает Данте у Россетти или принца-рыцаря у Берн-Джонса, похожи? Наверняка она сошла с ума. Это простое совпадение и не более. Да и не так уж сильно заметно сходство.

Верно?

Только Клеменс придвигает ноутбук ближе к свету настольной лампы и набирает сообщение:

«Кто ты такой и что знаешь о незнакомце с картин?»

На этот раз собеседник отвечает мгновенно:

«Меня зовут Шон, но ты можешь звать меня Палмер».

#18. Хозяин сомнений

Солнечный зайчик, отражаясь от угла стеклянной витрины, прыгает по стене; дрожит и витрина, и статуэтки в ней. Тихо звеня, они сердито вторят резким шагам Теодора. Клеменс с ногами устроилась в его кресле (второе, выпачканное в крови, они с Беном единогласно решили сжечь, но пока оставили на заднем дворе, где никто не увидит свидетельства ночного покушения). Паркет в некоторых местах все еще напоминает о случившемся, и в трещинах между тонкими дощечками Клеменс видит подсохшие бурые пятна. Или же они ей мерещатся? После ночи, что кажется теперь кошмаром, ее мозг раз за разом прокручивает особо мучительные мгновения, словно кто-то записал их на пленку и теперь показывает во внутреннем кинотеатре ее подсознания. С характерным треском, который издают бобинные кинопроекторы.

– Не понимаю, чего он бесится, – шепчет Клеменс Бену. Тот сидит напротив, пристроившись на последнем уцелевшем кресле, и попивает чай из любимой кружки, будто ничего не происходит. Клеменс не может сделать и глотка, пока Теодор мерит шагами зал.

Время от времени он останавливается, чтобы повернуться, ткнуть в нее пальцем и выдавить из себя нечленораздельный звук.

- Ты!..

Потом его шествие возобновляется с удвоенной скоростью, и сердитые китайские статуэтки дрожат в витрине сильнее.

- Я же никому тебя не сдала! - восклицает Клеменс, когда ждать от Теодора хоть какой-то адекватной реакции становится неважностью. - Что такого ужасного я натворила, что ты теперь кидаешься на меня как цербер?

Теодор замирает у окна, каблуки его туфель визгливо скребут по полу.

- Что такого? - переспрашивает он. Выдыхает сквозь зубы и оборачивается, чтобы вперить в Клеменс горящий праведным гневом взор. - Ты лгала мне! Бену лгала, отцу, видимо, тоже! Ни за что не поверю, что Генри пошел бы на обман, знай он, какая его дочь на самом деле!..

- Какая? - с вызовом восклицает Клеменс. - Я всего лишь подтверждала свои догадки, это ты говорил при каждом удобном случае, что тебе двести-сорок-с-чем-то-там лет!

- Я хотя бы тебе не врал!

- Да неужели? - Она щурится. - Никто в здравом уме не полез бы проверять, на самом деле ты бессмертный или же просто свихнулся.

- Да, кроме тебя и твоего дружка! - рявкает Теодор.

Бен аккуратно ставит кружку на столик и встает, чтобы отправиться на кухню за очередной порцией чая и печенья. В напряженной обстановке, когда Клеменс и Теодор готовы затеять злую ссору (нет, они уже ссорятся, да так, что все соседи в курсе), Бен отчего-то чувствует себя комфортно, будто прожил всю жизнь в раздразне. Впрочем, вероятнее всего, он всегда был якорем, удерживавшим Теодора на грани между реальностью и вымыслом, в который монотонно превращалась его жизнь год за годом.

– Неужели ты на меня еще и покушение повесишь? – злится Клеменс. – Это не я вложила нож в руки Шону!

– Но ты его ко мне привела! – рычит Атлас. – Откуда мне знать, что вы с ним не в сговоре?

– Да как ты... – Клеменс, задыхаясь, вскакивает с кресла. Воздух в зале становится заметно горячее, теперь здесь душно, и ей хочется открыть ставни широких окон.

– Он знал обо мне из твоих рассказов, – шипит Теодор.

– Он знал о тебе еще до меня, – парирует Клеменс. – Это он пришел ко мне с твоей фотографией, и я ему ничего нового не сообщила. А вот ты...

– Я?

– Ты к нему заявился, чтобы документы свои подделать. Сам же себя и выдал.

Теодор открывает рот, готовый разразиться возмущенной тирадой, но слова, кажется, застревают в горле незадачливого обвинителя. Клеменс удовлетворенно хмыкает.

Бен возвращается к ним с подносом в руках, мурлычет себе под нос какую-то мелодию, не обращая никакого внимания на крики.

Это он нашел Теодора спящим на софе в неудобной позе, когда внезапно вернулся через день после своего отъезда. Это он сменил ему повязку, зашил лежащего без сознания друга, перетянув так, чтобы рана больше не кровоточила, и втащил его на второй этаж, пока Клеменс спала беспробудным сном в его же постели. И это он рассказал перепуганной девушке всю правду без прикрас, впервые нарушив данное Теодору слово.

В общем-то, ничего нового Клеменс от Бена не узнала. Он лишь подтвердил все ее опасения (что стали излишними, как только она своими глазами увидела: раны на Теодоре заживают как на собаке, и спит он словно убитый).

Что могло шокировать ее больше? Теодор не старится и не умирает, на его теле не остается открытых ран – только шрамы, что рубцами полосуют его кожу от лопаток почти до самых ног. Мелкие, бледные, словно насечки на память. Длинные и кривые, со следами неумелых швов, какие обыкновенно можно найти на теле бывших военных. Рваные от ножевых ранений или открытых переломов. Широкие, по большей части покрывающие пластинами спину, – от падения с больших высот. С тела бессмертного человека можно считать всю историю его жизни, как с карты.

Только Клеменс не картограф, а всего лишь умелый фантазер, чьи домыслы вдруг стали реальностью.

Что могло бы шокировать ее больше?

– Тебе не стоило рассказывать обо мне всем подряд.

Клеменс смотрит на Теодора, думая, что ослышалась.

– Я никому про тебя не рассказывала! – Ее голос снова взлетает к потолку. – Это ведь ты всем трепался, как... Господи, да из-за чего ты так злишься?

– Хватит упоминать Его при каждом удобном случае, – привычно осаживает ее Теодор.

– Ты был моей мечтой с самого детства, – тихо роняет Клеменс.

Лицо Теодора принимает странное выражение, губы некрасиво кривятся.

– Ох да брось! – восклицает она. – Я сказала «мечтой», а не «любовью»! Ты всегда так реагируешь на признания?

Он, не зная, что ответить, просто фыркает и весьма прозаично удаляется на кухню, где начинает рассерженно шуметь посудой. Клеменс провожает его вымученным вздохом.

Этот спор длится все утро. Глядя, как стрелки настенных часов лениво переползают с одиннадцати на двенадцать, а потом и на половину первого,

Клеменс не может не признать: общение с Теодором выматывает ее почти так же, как спасение его бессмертной, чтоб ее, жизни.

– Эй! – вдруг спохватившись, возмущенно восклицает она, вскакивает с кресла и бежит к Теодору. – Эй! – повторяет она. – Я тебе жизнь спасла, помнишь? Между прочим, ты все равно бы себя выдал. Не предполагай я подобной мистики, сейчас бы ты извинялся передо мной в том, о чем понятия не имел!

Теодор со злостью – чересчур резкой, театральной, как может показаться, – бросает в раковину джезву. Поворачивается к девушке – напряженный, как натянутая струна, с шипением, подобно закипающему чайнику на плите.

– Ты сблизилась со мной ради вот этого? – щурясь, цедит он. – Ради моей тайны, мистической жизни? Как теперь я могу тебе доверять?

– Очень просто, – отвечает Клеменс, скрещивая на груди руки. – Я спасла тебя. Бен сказал, что я даже надрез сделала правильный. И ради всего святого, Теодор! Я не собираюсь болтать о твоём бессмертии направо и налево.

Атлас опускает глаза к ее рукам. Осознав, что и сама она кажется из-за подобных жестов нервной, Клеменс заставляет себя расслабиться. Приваливается боком к дверному косяку, устало склоняет к нему голову.

– Я никому не расскажу, – упрямо повторяет она. – Мне достаточно того, что я наконец-то тебя нашла. Человека с полотен и фотографий.

Теодор вздыхает и отворачивается от нее.

– Ты мне лгала, Клеменс. А я тебе доверился.

– Теодор!

– Нет. Я не хочу больше говорить об этом.

Это «нет», будто оружие, вонзается в грудь Клеменс. Как нож из вулканического туфа с каменным идолом на рукоятке. Его лезвие проворачивается в грудной клетке – почти физически ощутимо, до боли. Клеменс шумно вздыхает и,

развернувшись, топает по коридору к винтовой лестнице.

Она возьмет свою сумку и уберется из этого дома, раз господину Атласу угодно строить из себя обиженную девицу.

Ее ловит Бенджамин и, мягко удерживая за локоть, тянет вниз со ступеней.

– Не злись, – тихо просит Бен. – На самом деле он тебе благодарен, но это ему в новинку, вот он и бесится.

– Я понимаю, – кивает Клеменс. Вытягивает руку из пальцев Паттерсона и, слабо улыбнувшись, поднимается вверх. В полутемной спальне Теодора она находит свою сумку, записку со знакомым почерком, обнаруженную на полу магазина, и ветровку.

«Навеки проклят, не так ли?» – гласит послание от неизвестного. Витиеватая фраза отчасти стерлась от крови – ее в ту ночь на полу было так много, что Клеменс дивится, каким образом она не покрыла весь пергаментный прямоугольник.

Тот, кто написал это, просто издевается над Теодором. Навеки проклят. Не так ли?

Клеменс почти слышит, как кто-то взывает к ней из темных углов. Не так ли, не так ли, не так ли? Ядовитый, тягучий должен быть голос.

Успокоиться не выходит, но, приказав себе не думать о таинственном незнакомце, девушка спускается в лавку, чтобы вручить записку адресату.

– Это было на полу, – коротко бросает Клеменс, не глядя на Теодора, развалившегося в кресле. Забрызганный кровью клочок пергамента остается лежать на столике перед Атласом.

Он ничего ей не говорит, так что Клеменс покидает лавку, испытывая скребущее чувство вины и обиды одновременно. Да, она его обманывала, но ведь он сам ей открылся, тем же утром, после ранения! Да, ей стоило бы сразу сказать, чего она ждет от него, но обычно люди, говорящие о бессмертии, считаются

сумасшедшими. Окажись Теодор простым смертным, он бы высмеял ее и прогнал с глаз долой. Или сдал психотерапевтам. Или отослал бы обратно к отцу (а то и к матери) с наставлением стеречь неразумное дитя и не пускать в люди.

Ей не стоило скрывать от него правду так долго. Ему не стоило потакать ее прихотям. На что он рассчитывал?

Клеменс спешит домой, к поджидающей ее матери, от которой бегают третьи сутки, и не может унять нервной дрожи.

Ты лгала ему, а он тебе доверился, Клеменс. Не так ли?

Промедление все уменьшает его шансы отыскать мальчишку и выпороть как следует. Бен считает, что для беготни по городу – Теодор уверен, что выскочка Палмер не сбежал прочь хотя бы в другое графство, – он еще не окреп. Но когда бы это его останавливало?

– Я могу сам его отыскать, – ворчит Бен, прибирая бардак, который Теодор учинил этим утром: совершенно не выспавшись, промучившись полночи с застарелой болью в ребрах, бедняга спустился вниз в отвратительном настроении. Извел впустую четверть мешка своего любимого кофе – запах ему не нравился, напиток не приносил бодрости, а виски отыскать не удалось. И, подозревая, что последнюю бутылку предусмотрительный Бенджамин спрятал, Теодор перевернул вверх дном все коробки в коридоре.

– Этот крысеныш думает, что я умер, – самодовольно заявляет Атлас, стоя в проеме кухонной двери. – Наверняка притаился в каком-нибудь подвале и ждет новостей. Если ты будешь о нем разнюхивать, никакого сюрприза у меня не получится.

– Боже, Теодор, – пыхтит Бен. Он спрессовывает картонные останки старых коробок, а мелочь раскидывает по новым. – Хочешь изображать труп ходячий? Монстра Франкенштейна?

– Если это напугает мальчишку до обморока – да.

Бен фыркает и отворачивается, гадая, как долго продлится хандра Теодора. Виной всему девушка, и Бен готов поклясться, что не в последний раз они ссорятся.

Теодор идет в зал своего магазина шаркающей походкой. В ребрах боль продолжает пульсировать, хотя рана уже затянулась, почти не оставив шрама. Он мог бы взяться за старую трость, но гордость не позволяет ему опускаться до подобного. Лучше терпеть и ждать, когда кости вернутся на свои места, чем изображать из себя героя Уинстона Грэма[1 - Имеется в виду Росс Полдарт, главный герой романов английского писателя Уинстона Грэма, хромавший на одну ногу и потому иногда пользующийся тростью.].

Бен прав: быстро передвигаться у Теодора не хватит сил, а на поиски незадачливого душегуба у него может уйти несколько дней – от одного до десяти, если паршивец все-таки не сбежал в другой город. Тогда, ко всему прочему, мальчишка еще и глуп. Или же тщеславен.

Единственное, в чем Теодор уверен наверняка: Палмер не тот сопляк, что станет прятаться по углам и дрожать от каждой полицейской сирены. Судя по рассказам Клеменс (под ложечкой начинает неприятно зудеть только от мысли о наглой девчонке), Палмер – или Шон, как бы его ни звали, – давно присматривался к Атласу. Тщательно все выпытывал из наивной девицы. Строил свои теории, что в конечном итоге оправдались. Даже если убийство Теодора не входило в его планы – а действовал в ту ночь сопляк в состоянии аффекта, как ни крути, – теперь бояться расследования он не станет.

Если верит, что Теодор мертв или лежит в больнице.

Сюрприз, малыш-убийца.

Теодор вымеряет шагами узкий проход между стеклянной витриной и кофейным столиком. Ребра стонут при каждом повороте, так не годится. Сидеть здесь и ждать чудесного исцеления, теряя время – тоже не выход.

Он злится, удивляясь, что нетерпение вдруг становится для него решающим фактором, пока Бен не появляется в зале с вопросом:

- Что ты намерен с ним сделать?

Теодор не оборачивается, продолжая рассматривать парящих над гаванью чаек за окном.

- С ним?

- Ты знаешь, - настаивает Паттерсон. Вот уже несколько дней Теодору кажется, что Бен не верит в злодейство мальчишки-фальсификатора, которого он же и привел. То ли ему стыдно за свою причастность к случившемуся, то ли это за него вновь говорит вера в людей.

Нелепое благодушие. Добро не может быть абсолютным.

- Если найду его, - вздыхает Теодор, - то схвачу. Приволоку сюда, запру в подвале. Подержу без воды и еды ... полдня. Тогда мальчишка расскажет мне все и про себя, и про своего кукловода, к которому тянутся ниточки.

Болезненно воспринимающий подобные речи Бен прищелкивает языком. Теодор слышит, как тот садится в кресло, со скрежетом придвигает столик поближе. Бен снова пьет свой несчастный чай.

В это самое время он должен быть на материке, слушать скучную лекцию докторов биологических и медицинских наук где-то под Страсбургом, а не караулить Теодора в собственной лавке. Вернулся Бен только потому, что его рейс перенесли на день, но теперь с упорством быка утверждает, что здесь вмешалось провидение, высшие силы, которым Теодору стоит быть благодарным.

Лететь на свою конференцию кандидат биологических наук Паттерсон теперь и не думает.

- Давай мы не будем торопиться, - говорит Бен.

- Торопиться с чем? - спрашивает Теодор, наконец поворачиваясь лицом к приятелю. Тот хмурится, подбирая слова.

– С выводами. С дальнейшими планами. В тебе говорит злость...

– О, ну разумеется! Посмотрел бы я на тебя, оставь тебе какой-то малолетка нож в ребре вместо сувенира!

– ...злость на Клеменс, – терпеливо договаривает Бен. Теодор, сжимая и разжимая пальцы рук, медленно идет к креслу и морщится при каждом шаге. Остановившись рядом с Беном, он медленно поворачивает голову из стороны в сторону, разминает затекшие мышцы шеи. Думает.

Конечно же, на Клеменс он тоже злится.

– Она ко всему этому, – Теодор обводит неопределенным жестом пространство лавки, – причастна не меньше. Она, пожалуй, имеет прямое отношение к... покушению. На меня.

– Да, а еще она тебе немного приврала, и это бесит тебя до желудочных колик, – отрезает Бен. Он поднимает взгляд к другу и вздыхает. – Ты ведешь себя неадекватно.

Теодора бесит не вранье девицы. Его бесит мальчишка, разгуливающий по городу в этот самый момент, пока он сидит, запертый в четырех стенах, и сдерживает стоны от неприятной боли в ребрах. Этого мелкого паршивца должна хотя бы совесть мучить! Но Теодор уверен, что существование Палмера нынче ничто не омрачает, и это злит куда сильнее.

– Я советую тебе успокоиться, – говорит Бен.

– Я советую тебе заткнуться, – огрызается Теодор. Бен снова вздыхает.

В царство антиквариата льется дневной яркий свет сквозь недавно вымытые окна. Атлас подозревает, что после тщательного мытья полов щепетильный Бенджамин заодно навел порядок на витринах лавки. И, возможно, ему помогала не одна пара рук, потому что теперь, спускаясь в зал магазина, Теодор то и дело натывается на забытые мелочи, принадлежащие явно не другу: заколку для волос, шпильку, губную помаду.

Солнце приятно греет, в воздухе пахнет созревшим летом. Над гаванью парят чайки, а вдоль берега прогуливаются парочки разных возрастов, и их с каждым днем становится все больше. Предчувствие наплыва туристов только ухудшает и без того отвратительное настроение Теодора.

Он раздумывает над тем, чтобы дотащить хотя бы до Камбэлтаун-уэй и заказать в баре на побережье пару стопок чего-нибудь горячительного, и уже собирается ускользнуть из-под надзора строгого Бенджамина, когда часы бьют восемь вечера.

Именно в это время в лавке появляется Клеменс, как ворона Морриган, прямо из вечерних сумерек.

– Нам надо поговорить, – с порога заявляет она, бросая сумку в приглянувшееся ей кресло. Теодор мысленно клянет ее на чем свет стоит.

– Нам не о чем разговаривать, особенно сейчас, – шипит он на девушку и дергает головой в сторону двери. Теодор почти слышит, как наверху Бен расхаживает между диваном и журнальным столиком, дочитывая утреннюю газету. Заинтересовавшая его статья вот-вот подойдет к концу, и Паттерсон решит обсудить ее с другом.

Атласу лучше убраться из лавки до этого момента, если он мечтает попасть в бар.

– Нет, стой! – чересчур громко говорит Клеменс. – Я знаю, ты на меня злишься, но речь сейчас не об этом. Бен сказал, ты хочешь отыскать Шона.

О, святые угодники, почему она заявляется всегда так не вовремя?

– Бен – болтун, – отрезает Теодор. – А теперь отойди-ка в сторону, мне надо свалить отсюда как можно скорее.

– Теодор! – в голос восклицает гостья.

– Клеменс! – издевательски вторит он ей.

- Что у вас там стряслось?

Бен стучит пятками, спускаясь по лестнице на первый этаж, и Теодор, слыша его шаги, окончательно теряет веру в карму: судьба должна была наградить его хотя бы глотком спиртного вдали от неусыпного Паттерсона с его перевязками и наглейшей девицы, которая ему на голову свалилась определенно за все грехи. Теперь вместо вечера в баре ему предстоит вот это – дочь смотрителя галереи, уверенная, что ее слова могут образумить Атласа, и кандидат биологических наук.

- Что ты собираешься делать? – спрашивает Клеменс. – У тебя даже плана нет.

- Есть.

Выбраться из антикварной клетки и завалиться в ближайший бар, чтобы утопить все мысли в виски.

- Я найду этого мальчишку, притащу сюда, запру в подвале, – повторяет Теодор, – а после вытрясу из него все, что тот знает.

Клеменс вздыхает, хотя на самом деле ей хочется заломить руки в отчаянном жесте – видно невооруженным глазом. Неприятный ярко-желтый свет уличных фонарей делает кожу ее лица болезненной, почти зеленой, а волосы высветляет до рыжины.

- Теодор, так нельзя! Ты не можешь похищать людей среди бела дня, это...

- Что? Жестоко, по-твоему?

- Незаконно!

Он даже не думал всерьез следовать озвученному плану – по крайней мере не всем его пунктам. Вытрясти из беглого преступника всю правду можно и без похищения, но, видя, как сильно это тревожит девчонку-лгунью, Теодор удовлетворенно хмыкает.

– Давай-ка проясним ситуацию. Значит, ему можно всадить мне нож под ребра, а мне поймать его и поддержать взаперти – нельзя? Продолжаешь защищать его?

Неужели он прав? Клеменс в сговоре с Палмером-Шоном-кем-бы-он-ни-был? Это предположение окончательно его разочаровывает, что, видимо, не ускользает от внимания девушки.

– Я не его соучастница, Теодор, – выдыхает Клеменс. – Я никогда – слышишь ты меня или нет? – никогда не пыталась навредить тебе. Шон обманывал меня точно так же, как и тебя.

– Что же ты тогда так за него радеешь?

Вопрос звучит обиженно, словно его задает капризный ребенок. Теодор с трудом держит лицо, но Клеменс даже в сумраке словно видит его насквозь. Она говорит:

– Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Ни ты, ни он – никто. И у него могли быть причины, чтобы...

– Пытаться убить меня? – Теодор фыркает. – Ты всех преступников можешь так оправдать? Джека Потрошителя обделили лаской и заботой, поэтому он убивал невинных проституток – давайте простим его. Теда Банди[2 - Теодор Роберт Банди (Тед Банди) – американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки.] обманула собственная мать – конечно же, он не виноват в смерти тридцати девушек. Дэвид Чепмен[3 - Дэвид Марк Чепмен – убийца Джона Леннона, участника группы The Beatles.] просто хотел прославиться – не наказывать же его за это.

– Теодор!

Возглас Бена разряжает накопившееся напряжение, которое так и не дошло до пика. Теодор переводит дух и, закашлявшись, отворачивается от бледной Клеменс. Она сжимает руки и кусает губы. Чтобы не разреветься? Только слез им сейчас не хватало.

В наступившей тишине, гнетущей всех, Теодор шумно выдыхает и падает в кресло прямо на сумку девушки.

- Успокойся, Клеменс, - устало говорит он. - Я не собираюсь похищать убийцу-неудачника. Но и без наказания не оставлю.

- Обещай, что найдешь его, но не покалечишь! - летит ему в затылок упрямая и наглая - боже, какая наглая - фраза. Девушка явно решила, что теперь может помыкать им как вздумается.

- Это за тебя просит твое милосердие или собственная заинтересованность? - спрашивает Теодор, сочась ядом. - Парень тебя использовал, а ты продолжаешь думать, что...

- Обещай.

- Ох, балоров огонь... Хорошо, обещаю. Кинешься вместе со мной на его поиски?

Клеменс облегченно вздыхает за его спиной. Обходит кресло, оказываясь лицом к лицу с Теодором. Неприятный фонарный свет делает ее волосы, собранные в конский хвост, желто-зелеными.

- Тебе придется найти его самостоятельно, Теодор, - говорит девушка и грустно улыбается. - Я уезжаю домой.

#1. Пепел и пыль

В небе собираются тучи, хмурые и низкие, и в них отражается кромка темного леса. Будто небо и земля поменялись местами, и плотные молчаливые деревья теперь вверху, а серые облака - внизу. Душный ветер несет с океана соль и горечь. Или это от слез ему свело горло?

Пыль под ногами Серласа сворачивается в беспокойные клубы и тут же оседает под тяжестью воздуха, и воздух давит ему на плечи, равно как и собственное горе.

Мэйв ждет на берегу, как и говорил Финниан. Видеть ее Серласу совсем не хочется, и он не смотрит в чужое лицо. Ветер спутал ее пушистые волосы, выбившиеся из косы, и растрепал по плечам, обтянутым тонким платьем. Мэйв держит на руках Клементину; девочка спит, прильнув к ее шее.

Она даже не знает, что этой ночью лишилась матери и теперь ее обнимает убийца.

Серлас гонит эти мысли прочь – они не принесут ни добра, ни сил его истерзанному разуму, телу и чувствам. Непрошенные и неправильные, они врываются в его голову вихрем и не контролируются сознанием.

Он останавливается рядом с Мэйв. Смотрит вниз, себе под ноги – сухая желтая трава ластится к его ногам, будто чувствует в нем родню, – и не может поднять глаз. Мэйв тоже молчит.

Небо над их головами стремительно темнеет, сужается и опускается ниже. С первым раскатом грома, предвещающего бурю, Мэйв вздрагивает, и маленькая Клементина ворчит и просыпается.

– Давай, – наконец произносит Серлас. Сиплый голос кажется ему чужим. Он сам еще не знает, что радости и легкости, которые сквозили в его тоне ранее, теперь не услышит никто, даже дочь Нессы.

– Серлас... – шепчет Мэйв, перехватывая девочку повыше. Клементина начинает хныкать и вертеться в ее руках, и Серлас с безразличием подмечает, что даже маленький ребенок может распознать чужие руки. Они ей не нравятся, это не объятья матери.

Несса больше никогда ее не обнимет. Понимает ли это Клементина? Вряд ли.

– Отдай мне ребенка, – говорит он. От равнодушия, что сквозит в его голосе, жестах и всей фигуре, Серлас мог бы ужаснуться еще вчерашним днем. Сегодня же у него попросту нет других чувств. Мэйв тяжело вздыхает и протягивает ему Клементину, завернутую в простыню.

Маленькая рука ребенка тут же привычно цепляется за ремешок от кольца на шее Серласа, выглядывающий из ворота грязной рубахи. Кроме этой рубахи и легких штанов, на Серласе ничего, он все еще стоит на холодеющей земле голыми ногами.

В воздухе пахнет гарью, но этот запах приносит ветром со стороны его прежнего дома. Дым с городской площади здесь, на западном берегу гавани, сменился дымом от пожара. Повернись он, взгляни на то, что осталось от их с Нессой дома, – и глаза не сумели бы распознать в чернеющем пятне с корявыми обугленными краями ни жилища, ни хлева.

Пожар уничтожил все. Ничего не осталось. У него больше нет дома.

– У меня больше нет дома, – повторяет Серлас вслух свои мысли, только чтобы вытеснить их из монотонно гудящей головы. Мэйв странно вздыхает.

– Серлас, я...

Он дергается, словно ее слова способны причинять физическую боль, хлестать и оставлять на теле раны. Серлас прижимает к себе Клементину, прячет ее голову от взгляда Мэйв.

– Я не хочу ничего знать, – коротко говорит он. Мэйв кивает.

Что сделано, то сделано. Не помогут на сей раз ни оправдания, ни высокопарные речи. И что теперь до мотивов Мэйв и ее желаний, даже если служили они высшей цели? Этой ночью умер человек – и мир не остановился, не разверзлась под ногами горожан Трали темная пропасть и не поглотила всех вместе с круглой, как монета, площадью, звенящими колоколами церкви и костром, жаром которого опаляло сами небеса. Ничего этого не случилось, и Серлас не умер.

В мире не стало Нессы, а Серлас до сих пор жив.

Теперь для него ничего не значат слова Мэйв, и он даже не испытывает к ней ненависти. Он не чувствует ничего.

- У меня есть плащ и сапоги, - говорит Мэйв. Серлас не отвечает.

Он стоит к ней спиной и смотрит на океан, Клементина сопит ему в ухо, сжимая пухлой рукой шнурок с кольцом - простой серебряный ободок, две руки, сжимающие сердце с короной. Когда она подрастет, Серлас сможет отдать ей наследство матери. Единственное, что осталось.

- Серлас, - тихо зовет Мэйв. Почему она еще здесь, почему не сбежала? Серлас устало прикрывает глаза - веки наливаются сталью, голова гудит. Его бросает в жар, а душный тяжелый воздух давит на плечи сильнее прежнего.

- Пойдем со мной, Серлас, - говорит Мэйв. - Я дам тебе одежду, я успела спасти кое-что из твоих вещей.

Он облизывает сухие губы - те потрескались и покрылись копотью и золой от костра. Пепел и пыль. Вот каково на вкус горе.

- Я не хочу тебя видеть, Мэйв, - отвечает он. Клементина дергает его за ворот рубахи и поворачивает голову к девушке. - Уходи.

- Серлас...

- Спасибо, что спасла Клементину, - тихо, резко договаривает он. - Она еще ребенок, невинное дитя. Когда-нибудь ты поймешь это.

- Серлас, - вздыхает Мэйв. Он медленно поворачивается к ней, чтобы наткнуться взглядом на ее бледное лицо и заплаканные глаза. Девушка сердито стирает со щеки мокрую дорожку слез и вскидывает подбородок. - Что ты будешь теперь делать? Куда ты пойдешь с маленькой девочкой на руках?

Серлас равнодушно смотрит на нее и вздыхает.

- Я не знаю, - просто отвечает он. Это правда, Серлас не знает, что делать теперь. Он слишком устал, чтобы думать об этом.

- Пойдем со мной, - робко просит Мэйв. - Ты должен переждать бурю.

«Нет, – думает Серлас. – Буря уже закончилась».

За напряженным рокотом следует второй удар грома, а потом с неба льется, внезапно и резко, обильный дождь. Слезы на лице Мэйв сливаются с его каплями. На губах Серласа черными разводами остается пепел.

– Серлас, тебе надо унести девочку отсюда, – говорит Мэйв. – Она замерзнет и заболит.

Но тот не двигается с места. Он ждет, когда намокнет от дождя рубашка и штаны, когда ложбинка с сухой травой, в которой он стоит, зальется водой, и ноги его станут холодными и, может, отмерзнут и отвалятся насовсем. Ждет, когда поднимутся в океане волны, ударят со всей своей огромной силы о скалы, накроют песчаный берег, окатят стоящих здесь людей с головы до ног солью.

Хорошо бы их унесло в самое сердце океана и укрыло под его холодными водами. Серлас так устал, что готов проспать на океанском дне до конца света.

– Серлас, пойдем же! – перекрикивая нарастающий ветер и шум прибоя, зовет Мэйв. – Ты же не хочешь, чтобы твоя дочь умерла потом от простуды?

Разве? Знала бы ты, глупая Мэйв, чья это дочь...

Серлас хочет и дальше стоять здесь, подставляясь буре, несущей свою сокрушительную силу на берег, но крик Мэйв вдруг сливается с другим, что звучит у него изнутри.

Ты дал слово, Серлас.

Горло сводит судорогой, по позвоночнику вместе с дождевой водой льется вниз от самого затылка холод, не знакомый Серласу прежде. Равнодушие в нем сменяется внезапным испугом; Клементина начинает плакать и стонать, и ее звонкие возгласы прорываются сквозь свист ветра.

Серлас не хочет, чтобы она заболела, но ему некуда идти.

– Пойдем, там уцелела крыша. – Мэйв тянет его за локоть к обгоревшему дому, от которого ничего почти не осталось. Серлас идет вслед за девушкой, но смотрит себе под ноги и старается только не запинаться. Клементина хнычет от холода. «Ей бы поесть», – проносится в его голове. Такие мысли обыкновенно посещали голову Нессы, а не его.

Что ж, теперь Серласу беспокоиться за маленького ребенка и думать за двоих.

Дождь заливает все вокруг сплошной пеленой, будто теперь боги решили утопить Ирландию, подняв воды океана и сместив берега. Но даже за мутной стеной шумной воды Серлас видит разверстую темную пасть на месте своего дома.

Вместе с Мэйв они умещаются под обвалившейся косой крышей хлева. От его черных обугленных стен пахнет гарью, под ногами неприятно чавкает каша из золы, земли и углей – это вместо брошенного на пол сена. На непокрытые головы капает грязная вода.

То, что осталось от дома Серласа, нельзя назвать даже пепелищем. Теперь здесь... кладбище? Могила его надежд, начало его горя?

Он глядит на черные доски стен и покрытые копотью ставни окон. Еще вчера, распахнув их настежь, они с Нессой могли смотреть на океанский берег, чтобы ленивый ветер трепал легкие занавески с неприятным цветочным узором на кайме.

Вчера было в прошлой жизни Серласа, а сегодня тот человек умер. Вот он, загробный мир: дом его сожжен, на месте спален, кухни и комнаты с камином теперь зияющая черная пропасть, а оставшиеся стены щерятся уродливыми зубьями досок и наводят лишь страх.

– Конноли решили, что спалят дом в отместку за свой хлев, – тихо произносит Мэйв. От ее голоса становится плохо, и Серлас торопливо отворачивается, чтобы не видеть следов пожара. Только те повсюду, куда ни глянь: угол хлева, в котором они укрываются, тоже черен и печален. Что случилось с козой и Матильдой? Эта мысль поднимает в душе Серласа что-то прежнее, и он оглядывается, чтобы убедиться: обгоревших останков скотины нигде не видно.

Клементина снова хнычет. Серлас перехватывает девочку другой рукой и привычно укачивает: если она забудет про дождь и холод, то сможет уснуть у него на руках на каких-нибудь полчаса.

– Тебе лучше уйти, – повторяет Серлас свои слова. Мэйв поджимает губы.

– Серлас, послушай, я могу помочь, я...

– Ты. Ничем. Не сможешь.

Похороненные вместе с мыслями о Нессе чувства вдруг костром вспыхивают в нем. Серлас вскидывает голову и смотрит Мэйв прямо в лицо, чтобы она видела и понимала: от нее Серлас не примет никакой помощи сверх той, что она уже оказала.

– Ты спасла Клеменс, – чеканя каждое слово, говорит Серлас. – И за это я тебе благодарен. Но не более.

Мэйв снова всхлипывает. Господь, как Серлас устал от этих никчемных, ненужных никому слез.

– Уходи, Мэйв, дочь Ибхи. С тобой на этом мы распрощаемся.

Мэйв шагает из-под крыши, босыми ногами переступая по черной земле и пеплу. Она выглядит больной из-за своей бледной кожи и худобы, несчастной от вытягивающего все ее силы горя, виноватой – да, виноватой, это Серлас может видеть ясно. Правильно, Мэйв. На твоих руках – смерть невинной женщины, ты виновата.

Словно читая его мысли, Мэйв вдруг говорит:

– Я сделала то, что должна была. От ведьм нет добра. Она сгубила бы тебя, Серлас.

Он прижимает к себе Клементину и закрывает глаза. В такой темноте можно забыться, оказавшись наедине с собой, а в шуме дождя – утопить все мысли и чувства. Заморозить их в пробирающемся под кожу холоде.

– Тебя не было там, – выдыхает он, не надеясь, что Мэйв его услышит. Когда он откроет глаза, ее не должно быть рядом. Когда он откроет глаза, с ним останется только маленькая Клементина. – Ты не слышала ее криков.

Мэйв не уходит. Она рвано вздыхает. Открыв глаза, Серлас видит ее испуганное лицо.

– Она не кричала, Серлас, – тихо говорит Мэйв. В ее широко распахнутых глазах Серлас видит себя. – Финниан вонзил нож ей в сердце, едва занялся огонь на ее подоле. Она умерла почти сразу.

Сердце Серласа сжимает что-то холодное, будто это ему клинок вошел в грудь. Он не может сделать ни единого вдоха.

– Никто не кричал, – добавляет Мэйв.

Крики были только в твоей голове, Серлас.

Старая мельница и бурлящий изгиб реки, наконец-то набравшей полные берега воды, остаются за спиной Серласа. Каждый шаг прибавляет ему решимости, каждый вдох холодит грудь. Хлюпает вода в сапогах с голенищами, широкими не по ноге, полы длинного, до колен плаща липнут к мокрым штанам. После грозы солнце показалось из-за туч – и тут же спряталось за горизонтом, наступили сумерки, а с ним пришла прохлада, и теперь мокрая одежда не греет Серласа. Он еще не успел продрогнуть, но знает, что замерзнет до того, как придет в порт.

Клементина просыпается каждые десять минут, возится у него на руках и не может найти покоя: ей не нравится тяжелая ходьба и колючий шерстяной платок, в который Серлас ее завернул, чтобы не простыла. Прежние тряпки пришлось снять с нее и оставить у развалин бывшего дома – от них не было проку, Клементина мерзла и плакала.

– Потерпи, девочка, – говорит он, поворачивая по дороге на запад.

Лес, что сторожил с западной стороны дом Нессы, поредел и остался позади, сменившись холмами. Те теперь тянутся вдоль дороги и бугрятся, касаясь небосвода мягкими волнами. Кипящая новой жизнью река свернула к океану, в воздухе запахло мокрой травой.

Серлас вдыхает аромат напившейся влагой природы и идет, упрямо и быстро, преодолевая усталость. Та поселилась в его теле и разуме, и он еще не знает, что злодейка будет преследовать его долгие-долгие годы. Сейчас же ему кажется, будто во всем виноват холод.

Не бессонная ночь, полная страданий и слез, а холод. Не смерть Нессы. Не отчаяние, сплетенное воедино со злостью.

Серлас никогда больше не будет прежним.

Это простое понимание приходит к нему с очередным тяжким вдохом; ширится грудь, внутри воздух раздвигает ребра и касается мягкими пальцами излома на правом боку. Он никогда больше не будет прежним, если его, живущего на этом свете под именем Серласа меньше года, можно считать настоящим.

Кем бы он ни был в прошлом, кем бы ни являлся теперь, прежний он ушел.

Серлас оглядывается на темнеющие на горизонте очертания Трали – мельничная застава, шпиль церкви с колоколами, главные ворота и рыбацкий причал. Все, что он знал, остается в городе, который так и не принял его.

Пропади он пропадом, этот город.

Серлас опускает тяжелые веки, трет лицо свободной рукой. Отворачивается от Трали, пока перед глазами мелькают лица его горожан. И идет дальше, ускоряя шаг.

До порта в Фените идти порядка шести миль, и если Серлас не будет сбавлять скорости, то успеет попасть в деревню до полуночи. Остаться под открытым небом с малышкой на руках он не рискнет. Значит, нужно идти и идти, невзирая на усталость и стонущие от боли ноги.

Окружив себя этими мыслями, Серлас приободряется. Прочь тягостные думы о прошлом и будущем, прочь горькие разочарования. Прочь боль, что колотится в его сердце с каждым ударом и струится по телу вместе с кровью. Не думать, не думать, не думать об этом.

Не вызывать в памяти лицо Нессы, гнать от себя любую мысль о ней. Когда полыхал костер, она уже умерла. Кто кричал в твоей голове, Серлас? Кто повторял странные, страшные слова, снова и снова? Дни сольются в года в нескончаемой круговерти.

Прочь эти страхи!

Ты дал слово, Серлас.

Он стонет, чтобы заглушить голос в голове. Клементина, недавно уснувшая, вновь просыпается. Хнычет, копошась в гнезде из шерстяного платка. Серлас клянет себя за несдержанность и перекладывает девочку на другую руку.

– Тише, Клеменс, – шепчет он, хотя не знает, понимает ли она его и слышит ли за тяжелой поступью. – Все будет хорошо. Не плачь. Все будет хорошо.

Серлас не верит своим словам. Он даже не думает, что сможет когда-либо в них поверить. Но маленькой Клементине не обязательно знать обо всех сомнениях, что скребутся в сердце Серласа, норовят изорвать душу в клочья. Он хочет теперь только одного – чтобы Клементина уснула крепким сном и не просыпалась до самого утра, не обращая внимания на упрямые шаги по дорожной грязи, шумную деревню, что поджидает их, и порт, с которого они смогут отплыть на первом же корабле подальше от берегов Ирландии.

В Фенит они приходят в двенадцатом часу, когда небо полнится звездами, а нарастающая луна тонким серпом освещает дорогу. Деревня с тремя сотнями жителей встречает Серласа тихим спокойным сном. Он идет вдоль жмущихся друг к другу домов и находит неприметную вывеску над одним из них.

Деревянная доска с нарисованной на ней головой старца в окружении волн гласит: «Паб». В такое злачное место не принято входить с ребенком на руках, но у Серласа нет выбора. Он толкает дверь плечом и вваливается в прибежище неспящих ирландцев, залитое оранжевым светом множества свечей.

Их трое: мужчина лет сорока у стойки с рядом пивных кружек и бутылок и два молодых парня с темными кучерявыми волосами и одинаково серыми глазами. Все трое оглядываются на внезапного посетителя.

– Заблудился, фэр[4 - Fear (гэльск.) – мужчина, мужик.]? – басит от стойки мужчина. Он чуть выше Серласа, и у него крепкие руки. Если ему не понравится незнакомец на пороге паба, он вышвырнет его с такой силой, которой Серлас похвастаться не может.

– Я бы хотел переждать здесь одну ночь, – говорит Серлас. – Мне нужно на корабль. В вашем порту ведь стоит корабль? На нем можно отправиться на материк?

Молодые парни за столом в дальнем углу медленно поднимаются на ноги. Хозяин паба отвлекается от своих кружек.

– В нашем порту стоит корабль, – кивает мужчина. – На нем везут к берегам Европы рыбу и другую морскую снедь. – Он фыркает и кривит губы. – Пассажиров на таком корабле не возят.

– Мне нужно попасть на этот корабль, – упрямо повторяет Серлас. – Но прежде мне нужно переждать где-то ночь. У вас есть для меня комната?

Столько слов подряд он еще не произносил за эти сутки. В горле теперь неприятно першит и скребется.

– Ты слишком много хочешь, незнакомец, – подает голос один из молодых людей.

– Да! – добавляет второй. – Чего тебе здесь надо? Ты кто такой?

Они идут к Серласу, и тот наверняка знает, что его хотят выкинуть из теплого светлого паба в объятия ночи, под черный небосвод с равнодушными звездами. Он-то это переживет. Он, не Клеменс.

– Пожалуйста, я не хочу неприятностей, – говорит Серлас. Он устал и вымотался, ему нужен отдых и крепкий, здоровый сон. Нет, просто сон, любой, лишь бы провалиться в пустоту и не помнить себя несколько часов. – Я всего-то хочу

снять у вас комнату на одну ночь, а утром уйду.

Хозяин паба громко вздыхает.

- Прежде всего, парень, тебе нужно представиться.

Серлас смотрит на него и замечает в его лице, испещренном мелкими шрамами и буграми от старой кожной болезни, легкий интерес и настороженность. Но не полное отторжение и неприятие, не то, чего ожидал Серлас. Это его обнадеживает.

- Я пришел из Трали, что за шесть миль отсюда. Меня зовут Серлас. И наутро я хочу отплыть на вашем корабле из Ирландии.

- Меня зовут Сайомон, - представляется в ответ мужчина. - А ты опять не с того начал, Серлас из Трали.

Он выходит из-за стойки, снимает с ближайшего стола перевернутый вверх ногами стул на кривых ножках и ставит перед Серласом.

- Итак, - говорит он, не сводя с Серласа прямого изучающего взгляда, - сначала расскажи нам, кто ты такой и что, черт возьми, за ребенка ты сюда притащил?

#II. Человек из ниоткуда

Серлас мог бы соврать. Он даже придумал, что именно скажет на расспросы жителей встречных деревень и городов, если попадет в неприятности, подобные этой. Но сейчас, когда ночь уже так сильна, а он так слаб, когда долгая дорога выбила из него все возможные разумные и неразумные мысли, Серлас не может придумывать и хитрить.

Он скажет всю правду - не оттого, что в нем остались жалкие крохи благодетели и порядочности, что могут спасти бессмертную душу. Нет, он разуверился в высших силах, готовых спасать невинные жизни покорных своих слуг. Никто не спас Нессу, никто не защитил Клементину.

Он скажет правду, потому что невероятно и жестоко устал, чтобы тащить на себе еще груз треклятой лжи. Еще днем Серлас готов был городить любую чушь, чтобы его приняли и обогрели в чужом жилище, приютили маленького ребенка на руках у бездомного мужчины. Это было на выходе из Трали. Сейчас ночь, и ему, честно говоря, плевать, каким чудачком и чужаком его воспримут местные жители.

– Я пришел из Трали, – повторяет Серлас уже знакомую троим слушателям фразу. – Прошлой ночью жители Трали убили женщину. Вы узнаете это весьма скоро, скорее, чем мне бы хотелось. Ее звали... – он запинается, скрипит зубами от усердия: назови ее, назови ее имя! – но получается только слабый выдох. – Неважно, как ее звали. Горожане посчитали ее ведьмой и сожгли на костре.

Серлас не вмешивается испуганному перешептыванию двух молодых людей. Хозяин паба, что представился Сайомоном, смотрит на пришедшего чужака, не мигая, не выказывая лишних эмоций. Только сжимает руками деревянную спинку кривобокого стула.

– Я был мужем той женщины, а теперь я вдовец, – продолжает Серлас. Слова крошатся на выдохе, звуки дробятся о зубы, и признания вытягивают из него все остатки былых сил. Их и так была самая малость.

– А ребенок? – тихо спрашивает Сайомон, кивая на дитя. – Твой?

Серлас поднимает к нему глаза и медленно, борясь с тяжелеющими веками, кивает.

– Это мой сын.

Хозяин паба вздыхает, прерывается нервный шепот молодых людей. Один из них делает шаг вперед, с вызовом смотрит на чужака. Серлас прижимает Клементину к груди и думает, что правда будет ему проклятьем. Не спасала раньше, не спасет и теперь.

– Муж ведьмы и сам нечист! – запальчиво шепчет молодой юноша. Второй только кивает, но вид у него смиреннее, чем у первого. Они похожи на братьев, сыновей одного отца, или кузенов, – и оба хотят казаться взрослее, чем есть.

Серлас окидывает одного за другим внимательным цепким взглядом. Сильные, заносчивые, нетерпеливые. Ему не справиться с ними, даже будь он отдохнувшим и сытым. Клементина, завернутая в шерстяной платок, не даст ему развернуться в драке, если та начнется.

Серлас делает шаг назад, упираясь спиной в дубовую дверь.

– Я сказал, что ее считали ведьмой, – настойчиво говорит он. – Я не сказал, что она таковой была. Горожане решили, что жительница окраины виновна в засухе. А мы всего лишь хотели жить спокойно.

– Кто ж поверит тебе? – сплевывает молодой человек, смахивая с лица темную прядь. На его скулах уже пробилась жесткая щетина, у второго же над верхней губой едва занимается мягкий пушок. Серласу на одно мгновение кажется, что это братья Конноли, воплотившись в двух жителей Фенита, настигли его и здесь. Секунды хватает, чтобы все его тело сковал ледяной холод страха.

– Спокойно, Берnard, – осаживает его Сайомон. – Дай человеку сказать свое слово.

Он кивает Серласу и – удивительно! – предлагает сесть. Молча указывает рукой на стул перед собой, ставит на стол кружку. Он спокоен и рассудителен, а в его движениях сквозит уверенность в своих силах и мыслях. Серлас не знает, позволительно ли ему сесть здесь и оправдать свой ночной визит, но усталость подкашивает ноги, наваждение, что является ему в лицах этих двух молодчиков, уже кажется сном наяву. Разве можно бороться с собой, когда предлагают сесть?

Серлас опускается на стул и осторожно касается грязными пальцами холодного края кружки. Сайомон хмыкает, берет со стойки бочонок и льет, щедро наливает чужаку грязно-коричневого пойла до самых краев.

– Пей, Серлас из Трали, – говорит Сайомон. – Мы в Фените не изгоняем всякого гостя за слухи. Правда, Берnard?

– Да ты из ума выжил, Далеи, – выдыхает юноша, которого называли Берnardом. – А вдруг этот ведьмин муж притащил сюда холеру в платке? Неприятности здесь

никому не нужны, пусть уходит!

– Остынь, – коротко бросает Сайомон. Серлас молча наблюдает за их перепалкой и даже не думает вступать. Добрые люди приютят его здесь? Хорошо. Добрые люди выкинут его под лунный свет? Пусть. Погонят ли его прочь из Фенита или же дадут кров на одну эту ночь – ему, кажется, теперь все равно.

– Но Сайомон, старик... – начинает второй.

– Это мой паб, мальцы, – отрезает Сайомон. – И я устанавливаю в нем правила. Мы не гоним людей за пустые слухи. А этому человеку и его ребенку нужна всего ночь покоя.

Они встречаются взглядами – Серлас и Сайомон. Серлас едва заметно кивает.

– Спасибо, – говорит он на выдохе, прежде чем устало прикрыть глаза и опустить голову на скрещенные руки, насколько ему позволяет это сделать перевязь из платка, удерживающая Клементину. – Это дитя никому не причинит вреда. Он совсем младенец.

Словно поняв, что говорят про нее, Клементина просыпается и начинает возиться в неудобном тугом узле. В пабе жарко, застоявшийся спертый воздух мешает дышать как следует, а пары алкоголя витают в нем, как кучевые облака. Девочка часто дышит и подает слабый голос.

Бернард и его брат подозрительно косятся на платок на груди Серласа.

Недоверчивые глупые юнцы. От подобных случаются все беды: излишняя самоуверенность, не подкрепленная умом и сообразительностью, всегда выступает впереди любого разумного довода. Потом из разговоров рождаются слухи, слухи полнятся и обрастают подробностями. Не слухи ли сгубили Нессу?

– Это просто ребенок, – повторяет Серлас, хотя теперь ему кажется, что это говорит голос в его мыслях. Он столько раз пытался убедить горожан Трали в невинности Клементины, столько раз повторял это самому себе, чтобы сделать правдой, даже если с самого ее рождения подозревал другое...

«Пусть это станет истиной, в которую я буду верить и за которой пойду», – думает Серлас.

– Это ребенок, невинный младенец, – говорит он.

Молодые люди доверять ему не спешат. Оба фыркают и одинаково скрещивают на груди руки.

– Будь по-твоему, – отвечает Сайомон. – Ведьмы ли это дитя или простой женщины, его нужно кормить. Давай ребенка сюда, уставший путник. Я найду ему молока.

Серлас мотает головой. Вызовет ли это лишние подозрения хозяина паба и двух вспыльчивых юношей? Серлас надеется только на доброту и понимание Сайомона, раз уж тот был так щедр на милости до этих пор.

– Я сам его покормлю, – говорит он. – Если поделишь пополам кружку, что дал мне, и нальешь в нее молока, а не этого пойла. Что здесь?

– Не вода святая, глупец, – смеется в голос Сайомон. Серлас тянется к кружке, придвигает ее ближе к себе. – Виски там. Пей, гость, раз ко мне в паб пришел среди ночи.

Серлас пил воду жизни[5 - Термин «виски» происходит от кельтских выражений *uisce beatha* и *uisge beatha* (произносится примерно как «ишке бяха»). Дословно выражение переводится как «вода жизни» и, возможно, является калькой с латинского *aqua vitae*.] только раз, и тот опыт до сих пор отзывается в нем тягучей болью под ребрами. Виски был первым напитком, коснувшимся его губ после пробуждения в туманном лесу. Стоит ли думать о том, чтобы пить его теперь, находясь вдали от всего, что он знал, среди незнакомых людей? С ребенком на руках, которого он выдает за сына, страшась наговоров от жителей Фенита?

Ведьмина дочь представляет опасность, даже если еще дитя. Ведьмин сын для этих людей – никто.

Ах, Серлас, разве ты не знаешь, что колдунов не существует?

– Пей, Серлас из Трали, – подначивает Сайомон. – Тебе выдался трудный путь. А сыну твоему нужен живой отец, а не уставшая кляча.

Серлас кидает последний взгляд на присмиривших под надзором хозяина паба молодых братьев – те обиженно сопят, один из них порывается уйти, но второй придерживает за рукав куртки и усаживает обратно, – и глубоко вздыхает, как перед прыжком в ледяную воду.

– Твоя взяла, Сайомон из Фенита. Уговаривать ты умеешь.

Сайомон снова громко хохочет. Берет со стойки вторую кружку, уже наполненную виски, ставит ее перед Серласом. Они кивают друг другу и делают по глотку.

Вода оказывается вовсе не ледяной. Все нутро Серласу вмиг прожигает адским пламенем. Тот же жар, каким пылал костер на площади в Трали. Словно в эту ночь он вернулся вновь, чтобы выжечь остатки самообладания в человеке, что разом потерял все. Серлас кашляет, жмурится. С непривычки глаза у него слезятся в три ручья, грудь горит, так что хочется стянуть грязный плащ и рубаху, отодвинуть шерстяной платок с Клементиной подальше от себя.

– Ты, право слово, слабак, – грохочет голос Сайомона, когда Серлас кое-как справляется с собой и открывает глаза. Стены паба плывут перед его взором, искажаются, как под толщей воды, и смыкаются под неправильными углами у пола и потолка.

Зря он пошел на поводу у Сайомона. Зря притащил в паб ребенка.

В голове среди всполохов разного цвета искр появляется лицо Нессы, обрамленное русыми волосами. Она была такой до рождения Клементины. Счастливой, спокойной. Серлас уже и не помнит ее такую.

«Что же ты делаешь, Серлас из Ниоткуда...» – вздыхает она и мрачнеет. Серлас пытается уцепиться за ее образ, но падает в пропасть. Сознание возвращается к нему, когда из-под него едет стул, а дощатый пол оказывается почти перед носом.

– Эк тебя сморило с одного глотка, парень, – ворчит Сайомон, подавая ему руку. Перепуганная Клементина жметесь к его груди, тащит из-за ворота рубахи шнурок с кольцом и натягивает у шеи. Силы в руках девочки много, страхов в голове – тоже. Сер-ласу не стоит забывать об этом.

И пить больше не стоит.

Сайомон усаживает его обратно за стол и ставит перед носом другую кружку. Вода в ней мутная, но не желто-коричневая. Это не виски, и пахнет от кружки родником.

– Пей, – кивает Сайомон и двигает посудину к Серласу ближе, а первую отнимает из-под руки и убирает обратно на стойку. Следом возникает кружка поменьше – в ней уже плещется молоко. Серлас видит все его действия сквозь запотевшее стекло внутреннего ока: слабо, медленно доходят образы до его сознания, трудно ловятся.

– Пои своего ребенка, – говорит Сайомон. – Небось, голодный. Весь день не ели?

Серлас медленно кивает. Весь день. Всю ночь. Кажется, прошедшие сутки были еще в прошлой жизни. А в этой оба они – и Серлас, и Клементина – голы, как новорожденные, и оба хотят есть.

Для Клементины новая жизнь началась в пабе маленькой деревни Фенит с кружки молока из рук Сайомона Далея.

Для Серласа новой жизнью стал глоток виски.

В порт Фенита приплывают рыболовные судна. Маленькие гукары, на которых не отплыть дальше рифов, от них за милую тянет рыбой, а свободного места на палубе так мало, что не хватит и Клементине. Серлас понимает свою ошибку в ту же секунду, как видит выстроившиеся в ряд у причала крохотные двухмачтовые суда. В первое утро он видел эту картину, во второе, в четвертое.

Через неделю ничего не меняется. Через две – тоже.

Эти судна не ходят за горизонт, не покидают родных вод Ирландии. На них не доплыть до Европы.

На Серласа начинают коситься рыбаки, возвращающиеся к берегу на своих хилых лодках, их жены, встречающие мужей из утреннего плавания, бегающие мимо дети хитро поглядывают в сторону Серласа из Трали, что пришел в их деревню пару недель назад и остался. Тихо обругав себя за свое слабоумие, мужчина идет назад.

Он возвращается в паб Сайомона, в комнату под крышей, где, укрытая несколькими пледами, спит Клементина. Сейчас ее зовут Клемент. Сейчас она – сын Серласа.

Мысленно он уже проклял эту идею двести сорок с лишним раз, но вслух не говорит ничего и старается вести себя как можно увереннее. После ночи, что прошла незаметно за разговорами с молчаливым слушателем Сайомоном, Серлас думает, что все его слова были наваждением, их наговорила ему в уши Несса, сотканная из памятных образов. Не следовало ему оставаться под крышей паба и вести задушевные беседы. Не следовало пить с Сайомоном треклятый виски.

Их с Клементиной не гонят с утра. Не гонят и на следующий день. Серлас по обыкновению ждет, когда из паба уйдут дневные посетители, и спускается с чердака, оставив спящую Клементину досматривать свои сны. Он покормил и переодел ее, девочка должна спать, не тревожа ни его, ни других людей в пабе.

Господь, Серлас и думает о ней как о своем ребенке, чего не было даже при жизни Нессы.

Коварную мысль, закравшуюся в его голову вместе с невинными думами о быте, он гневно гонит прочь. Несса мертва, о ней нельзя вспоминать! Прошла всего пара недель, а ему они кажутся годом. Так пусть память остывает быстрее, пусть вокруг него роятся другие мысли. Несса несет с собой горе и слезы, что душат, режут горло и грудь. О ней нельзя думать.

– Я говорил тебе, к нам большие судна редко плывут, – привычно бросает Сайомон, протирая забрызганную алкоголем стойку. В пабе пахнет виски, пивом, перченым мясом и потом. Дивный дух ирландских работяг, им теперь пронизана

вся одежда Серласа, его волосы и даже тело. Кислый запах прокрался под кожу, и кровь вобрала его в себя из легких.

Он страшится, что этот запах будет преследовать и Клементину. Но идти им обоим некуда: никто, кроме Сайомона, не приютит у себя под крышей безродного бездомного чужака, а когда слухи доберутся до Фенита из Трали, с жилищем Сайомона им придется проститься.

Сайомон повторяет, что не готов вестись на злословие соседних городов. Серлас верит, что людская добродетель заканчивается при первом упоминании ведьм и инквизиции.

Люди боятся всего на свете, он и сам боится. Отличие между ними и им только в том, что остальные готовы убивать из-за летучих сплетен, чтобы обезопасить себя, возвести вокруг своих родных крепости из прежнего спокойствия. Люди верят слухам и наговорам, ведь те – единственное, что не остановят ни щиты, ни копья, ни прочее оружие, не станут преградой стены и рвы. Сплетни – это отравы людского рода. Серлас познал всю их силу на себе и теперь не готов им верить. Ни словам, ни людям, что их произносят.

– Мой отец был похож на тебя, – говорит Сайомон поздним вечером, когда, проведив последних посетителей – братьев Данн, Бернарда и Финбара, которые с той самой ночи относятся к Серласу с подозрением, – они сидят за столом и медленно пьют. Сайомон – пиво, Серлас – воду. Алкоголь мутит рассудок, и Серлас опасается – более за маленькую Клементину, чем за себя, – что, опьянев, он раскроет свои секреты. Никому, даже Сайомону, в Фените довериться он не может.

– Сомневаюсь, что найдется в мире хоть один человек, на меня похожий, – угрюмо ворчит Серлас. – И это говорит во мне вовсе не честолюбие.

– Готов поспорить, – хмыкает Сайомон. – Мой отец был таким же. Верил только себе и матери, ни с кем задушевных бесед не вел. Помер, как и жил, в одиночестве и молчании.

– Ну, я на тот свет пока не собираюсь, – отрезает Серлас. Он вертит кружку в руке, та ребром скользит по бугристой поверхности стола, в сколах стекла отражаются слабые свечные огни.

Сайомон наблюдает за его резкими движениями, подмечает то, что Серлас видеть не может, и кивает.

- Будь по-твоему. Тебе еще сына растить.

Серлас фыркает. Отросшие волосы липнут к его лбу и щекам, скрывают глаза от мира, а мир – от него. Он смахивает непослушную жесткую прядь усталым жестом и делает еще глоток. Вода, ничего больше. Сайомон предлагает мужчине разделить с ним кружку пива или виски который день, но Серлас всегда отказывается, упрямо, как бык.

Он до сих пор не может вспомнить, наговорил ли в первый вечер хозяину паба больше, чем мог себе позволить, и не является ли Сайомон теперь хранителем его тайн? Даже если опасения Серласа верны, самоуверенный и по большей части молчаливый его собеседник не выказывает никаких тревог. За чужаком из Трали не бегут деревенские жители, не хватают на улице за руки и не грозят ему вслед.

Если опьяневший от алкоголя Серлас разболтал Сайомону всю правду о себе и спящей наверху Клементине, Сайомон их не выдал. Значит ли это, что ему, незнакомому, можно верить? Серлас себе таких вольностей не позволяет. Сейчас нельзя.

- У сына твоего, – подает голос хозяин паба. Серлас тут же вскидывается, руки его напрягаются, пальцы скребут по стеклу толстобочкой кружки. Сайомон усмехается. – Не кипятись, не зло говорить хочу. У сына твоего, – повторяет он, – имя нездешнее. Не ирландское.

- Жена выбирала, – коротко отвечает Серлас, прихлебывая из кружки. Вода в ней уже нагрелась и от внезапно ударившего в лицо жара не спасает.

- Жена-а... – тянет Сайомон, будто заделался персональным эхом своему угрюмому постояльцу. – Был у нас в деревне один Клемент. Года два назад приплыл вместе с галеоном из Франции. Эти неучи порты перепутали, причалили к нашему, а направлялись вообще-то в Дублин. Вся деревня над ними потешалась...

Серлас равнодушно кивает. Какая разница, какое имя носит ребенок без матери? Сирота-мальчик мог бы рассчитывать на более-менее сносное будущее даже под присмотром такого слабака, как он. Девочке-сироте же не светит и половины привилегий, ни мужских, ни женских, если она не научится жить правильно. Серлас не думает, что сможет обеспечить ее сносным существованием в этом мире, особенно на землях Ирландии, где за каждым углом ее, ведьмину дочь, подстерегают опасности.

Серлас знает: истинное зло кроется в людях. В их языках – яд, а в руках – безрассудная сила, что скрутит маленькую Клементину и лишит жизни только за цвет волос.

– И куда он делся? – спрашивает мужчина. Сайомон лениво озирается по сторонам, будто видит стены своего паба первый раз в жизни. Он становится таким рассеянным после трех пузатых кружек хмельного пива или же после одной – виски, но сегодня он выпил лишь половину, и Серлас хмыкает, глядя, как рослого сильного человека ведет с алкогольных паров, пропитавших воздух насквозь.

– Откуда мне знать, куда он, разукрашенный, делся... Ушел на восток, кажется... – Сайомон зевает и опускает усталую голову на скрещенные руки. Клочками отрастающая жесткая борода царапает ему грудь, в пробивающейся на макушке лысине отражается огонек ближайшей свечи на стойке.

– Тебе пора отдохнуть, пьяница, – фыркает Серлас. – Вставай, сегодня я помогу тебе добраться до перины.

– Вот была бы у меня жена, – заводит мужчина привычную для Серласа песнь. – Она бы заботилась обо мне вместо проходимца из Трали.

– Была бы у тебя жена, пей ты меньше.

Серлас стягивает грузное тело хозяина паба с толстоногого стула и охает, когда падает вслед за Сайомоном на пол. Тяжелый ирландец ворчит и брыкается.

– Сам я пойду, не маленький! Оставь!

От самой крыши вниз, в душный воздух паба пробивается детский плач, и Серлас чертыхается, не успев поднять Сайомона.

- Проклятье! Справляйся сам! Ты ребенка своими криками разбудил.

Он оставляет мужчину и мчится вверх по лестнице со скрипящими деревянными ступенями. Перепрыгивает через предпоследнюю, прохудившуюся в самой середине, хватается за перила на повороте.

Под крышей совсем темно и прохладно, в углах капает дождевая вода и скребутся крысы. Не самое подходящее место для детского сна, но другого им не предложили. Серлас вздыхает - Господь, дай мне сил, - и вынимает Клементину из колыбели, наскоро переделанной из винного бочонка.

Если бы Несса была жива, она пришла бы в животный ужас от таких условий. Но Нессы здесь нет, и Серласу не перед кем отчитываться.

- Тихо-тихо, - шепчет он раскрасневшейся Клементине. Девочка дергается, пытаюсь выпутаться из тряпичного кокона. - Что случилось? Плохие сны?

Она плачет почти беззвучно, только корчит недовольное лицо - жмурится, краснеет пуще прежнего, надувает щеки и разевает рот в немом крике. Серлас укачивает ее одной рукой, проверяя нос и лоб. Жара нет, она не болеет. Что еще может тревожить такого младенца?

Он даже не может спросить совета, ему не к кому обратиться за помощью. Ни в Трали, ни здесь ребенку ведьмы не помогут. Из Серласа получается отвратительный родитель, ужасный защитник.

Знала ли это Несса, когда вырывала из него обещание?

Не думать о ней. Прочь гнать все мысли и образы. Серлас жмурится, трясет головой, шумно вздыхает. И только потом слышит какой-то шум из паба.

- Нет никого, - слышится ему зычный голос Сайомона. - Чего надо?

Ему отвечают невпопад несколько голосов, они сливаются в недовольное гремяние, заглушаются тяжелыми шагами.

Серлас прижимает к себе Клементину – та отчего-то перестает шевелиться и дергаться у него на руках, будто тоже понимает тревожное состояние мужчины.

– Слышал про Трали? Там ведьму недавно сожгли.

Несколько голосов. Один принадлежит Бернарду, другой – его брату. Еще два или три человека – Серлас не знает их, ни разу не слышал. Четверо? Пятеро? Свирепеют и визжат доски под сапогами какого-то человека.

Вот скрипит лестница на чердак. Вот осаживает нежданного посетителя Сайомон, грубо одергивает: «Нет там его. Ушел уже».

Серлас весь обмирает, прекращает даже дышать.

Опасность, далекая и оттого кажущаяся ненастоящей, вдруг нагнала его и пригвоздила к полу. Слабовольный, легкомысленный дурак! Ты думал, чужая смертоносная сила оставит тебя, раз больше нет ведьмы, которую можно сжечь? Вот, Серлас из Ниоткуда, пожинай плоды своей слабости!

Он закрывает глаза и начинает отсчитывать секунды до мига расправы. Эен. Гаа. Тр...

Дверь на чердак с визгом распаивается, и в ночную тьму под крышу врывается яркий луч света.

#III. Крепкий нос гукара

В ярко-желтом пятне, что слепит глаза, появляется фигура Сайомона.

– Надо уходить, сейчас же, – коротко бросает он и тут же исчезает. По лестнице грохочут его сапоги, в резких движениях слышится напряжение. Страх

медленно отступает, чтобы забраться поглубже в сердце Серласа и замереть там в ожидании. Ты ослаб, говорит его разум голосом Нессы, ты будешь бояться сильнее.

Ладонка Клементины накрывает его шею, и Серлас вздрагивает. Теплая, нежная кожа у малышки, и сама она спокойная и тихая. Словно понимает, что над нею висит опасность, словно знает, что Серлас защитит от беды.

Он крепко-крепко жмурится, чтобы прогнать панику, подступающую к горлу, и идет вслед за Сайомоном. «Хозяин паба не выдал их сейчас, не выдаст и позже», – вот что думает Серлас. Он спускается по скрипучей лестнице, держа в руках Клементину; за спиной болтается перевязанный крепким узлом шерстяной платок с пожитками бедняка – там чистый кусок простыни для ребенка, сменная рубашка для Серласа, отданная Сайомоном, и несколько серебряных монет. Девять шиллингов. На такие деньги не купить и трети пути до Европы, но у Серласа нет ничего другого.

Участь его незавидна.

Вид не внушает доверия.

– Придется тебе уйти сейчас, – говорит Сайомон, поджидая у задней двери. Черный ход ведет к узкой улице: зажатой между двух домов тропинке, что тянется, как бельевая веревка, поперек широкой дороги и уходит в темный проулок на противоположной ее стороне. Серлас оглядывается. Дорожка бежит ему за спину и врезается в деревянные балки забора, сколоченного явно впопыхах: кое-где даже издалека видны прорехи, залатанные неумелой рукой лентяя.

– Если вас увидят наши – схватят, не церемонясь, – бурчит Сайомон. Он придерживает рукой дверь своего паба и переминается с ноги на ногу – так непривычно и скованно. Серлас кивает, даже не глядя в его сторону.

– Я понимаю, – говорит он. Темнота ночи пугает его, а то, что с каждой секундой нарастает в холодном воздухе – опасность в лице жителей Фенита, новый виток страха за Клементину, – не дает вдохнуть полной грудью.

– В заборе прореха, – подсказывает Сайомон. Его тяжелое дыхание почти бьет Серласа в затылок. Сайомон выше его на полголовы, а те, что пришли за Клементиной, его соседи, выше на голову.

– Отсюда можно добраться до причала?

– Через перелесок, по тропе. Завернешь у канавы и спустишься на полмили, а там берегом до порта. Недалеко, уж поверь.

– Поверю.

Они говорят тихо, едва слышно: Серлас на выдохе проговаривает свое «поверю» еще раз, чтобы убедить себя. Его не схватят, если он поторопится. Если он будет вести себя тихо. Если он не оступится. Если...

– Почему? – Серлас вдруг оборачивается, чтобы взглянуть Сайомону в лицо. – Почему ты нас выгораживаешь?

Клементина сопит в свернутой кое-как простыне и тоже смотрит на ирландца из Фенита с любопытством. Спокойная, молчаливая.

Сайомон неуклюже переминает с ноги на ногу. Вздыхает.

– Есть что-то в твоем ребенке... – тянет он, глотая звуки. – Не верю я, что такая кроха может вред принести, даже если мать была ведьмой.

– Она не...

– Знаю.

Сайомон кивает и – внезапно, некстати! – кладет тяжелую ладонь Серласу на плечо. Ночь опускается все ниже, тушит огни и глушит все звуки. Хозяин паба, что пригрел незваного гостя с ребенком, кажется теперь еще выше и тучнее.

– Береги ее, Серлас из Трали, – говорит он. – Это доброе дитя.

Серлас не успевает удивиться. За углом, со стороны главной улицы, доносятся беспокойные голоса. Нарастающий топот нескольких пар ног, гул мужского говора, мерцающий свет факелов – все это приближается к пабу. Сайомон сжимает плечо Серласа, стискивает до хруста.

– Беги же, чего стоишь?

Страх, что сковывал ноги, вонзается в сердце. Серлас кивает Сайомону на прощание и, не оглядываясь, спешит по темному узкому проулку к забору с прорехой. Дальше, за ним, чернеет в неизвестности лес.

– Все будет хорошо, – говорит Серлас Клементине. Его мысли дрожат нестройным роем, в ушах звенит от собственного сердцебиения. Он спешит покинуть проулок, пересечь хлипкую ограду, преодолеть последние фюты, разделяющие деревню Фенит и лес.

Кривая доска поддается сразу же, скрипят ржавые гвозди. Серлас задевает забор ногой, и тот стонет. Только бы не услышали, только бы не успели его заметить. Он так тяжело и громко дышит, что остается уповать на провидение и глухоту его преследователей.

Серлас не знает, как они выглядят, и представляет их с лицами братьев Конноли, с фигурой кузнеца Финниана, с цветом волос Мэйв. Он бежит от новых недоброжелателей, хотя не может быть уверен, что в паб они пришли за ним и Клементиной. От кого ноги его уносят?

За зубьями ограды, как и говорил Сайомон, начинается лес. Тянется вверх по пригорку невысокими пушистыми лапами вереса, переходит в ольховую полосу с колючими иглами терновника. Серлас бежит в спасительную тень деревьев, пробираясь через кусты, на полах плаща у него остаются синевато-черные пятна лопающихся ягод. Узел платка стучит ему по спине, жалкие девять шиллингов звонко отбивают дробь при каждом шаге. Мужчина перехватывает Клементину поудобнее.

– Тише, девочка, – сипло шепчет он, молясь, чтобы ребенок не вздумал вдруг плакать.

Узкая тропинка петляет между стволов высоких, вонзающихся в небосвод деревьев, и Серлас бредет по ней, запинаясь на каждом извилистом повороте. Он снова чувствует себя уставшим почти до обморока; бессилие навалилось на него враз, прямо за забором Фенита.

Нужно признать: он не сможет бегать от призрачной опасности в лице каждого встречного, у него не хватит на это ни сил, ни стойкости духа. Вот почему ему необходимо попасть в Европу. Подальше от сплетен ирландских деревень, от английских солдат, наговоров о ведьмах, несущихся в спину. На материке, говорят, время идет по-другому. И люди там другие.

Серлас замечает овраг – в нем блестит тонким ручьем вода из родника выше – и сворачивает вслед за тропой. К югу, ориентируясь по нарощему на стволы ольхи мху.

В темноте Серласу почти не различить собственных ног и рук, и только тепло, исходящее от уснувшей Клементины, позволяет ему думать, что он не спит. Все окружающее похоже на один из его тягучих непрекращающихся снов: деревья мелькают и мельчают, лунный свет тускло пробивается сквозь их кроны, тело Серласа окутывает влажный и оттого густой холод. И он бежит, снова бежит куда-то, не оглядываясь. От Дугала и Киерана Конноли, от Финниана-кузнеца, от Мэйв, дочери Ибхи. От жителей Трали и Фенита, от собственных страхов. От всего, что он помнит и знает.

Это будет долгий путь. Бесконечные поиски, погоня за призраками, вопросы без ответов. Серлас еще не догадывается, что только начинает свой бег по кругу.

И идет сейчас, с упорством быка, в сторону берега, откуда уже летит ему в лицо соленый ветер.

На зернистой гальке мужчина спотыкается об корягу и падает, впивается коленями в грубые мелкие камешки, сжимает зубы, чтобы не вскрикнуть. Руки инстинктивно обхватывают Клементину покрепче – удержать, оградить от падения. Девочка даже не просыпается, только резко вздыхает, будто видит во сне их стремительный бег вдоль берега.

Серлас сидит, упираясь саднящими коленями в землю, прямо у кромки воды, холодной и темной, как отраженное в ней небо. Он устал. Он хочет спать. Всего

одну долю секунды он думает о том, чтобы бросить сверток с ребенком прямо здесь и уйти, не оборачиваясь, даже если она будет плакать и звать его.

Слабовольный, бездушный дурак. Как бы ему хотелось иметь больше сил или меньше совести. Впрочем, это не совесть. Поступиться своими обещаниями и оставить бедное дитя на произвол судьбы Серласу не дает лишь страх.

Он уже взял на душу один грех, который ему не искупить до конца своих дней. Других таких мук его сердце не выдержит.

– Все хорошо, Клеменс, – говорит Серлас, когда девочка дергается в своем свертке. – Еще немного потерпи, а там...

Что будет «там», мужчина не знает и не хочет об этом думать. Он глубоко вдыхает соленый бриз, закрывает на мгновение глаза, так что брызги океанской воды успевают коснуться его век, и встает на ноги. С зудящими от падения коленями, в грязном пыльном плаще со следами терновых ягод. С заплечным мешком из шерстяного платка, монеты в котором жалобно звенят и перекатываются из складки в складку.

Вот таким он появляется у безлюдного причала. Поздней ночью еще до рассвета, здесь никого нет, и приставшие к берегу гукары мягко покачиваются на волнах в полном одиночестве, поджидая утра. Серлас испуганно озирается по сторонам – не схватят ли его, не увидят ли? – и медленно, осторожно идет вдоль рыболовных суденышек.

На одном из парусников Серлас видит выдавленное в боку слово. Дувьлинь. Корявое, рукописное, оно внушает тревогу и надежду, сплетенные воедино. Серлас останавливается напротив гукара, словно выбирает себе обновку.

– Ну что, Клеменс, – шепотом спрашивает он спящего ребенка, – не отправиться ли нам в Дублин? Оттуда легче поймать корабль до Европы, да?

Клементина счастливо сопит, уткнувшись носом в сгиб его локтя, и ничего, конечно же, ответить не может.

– Вот и я думаю... – продолжает Серлас, горько усмехаясь. – Неплохая это идея.

Каким образом он оказывается на борту дублинского гукара, наутро Серлас не помнит. Он просыпается с первыми упрямыми лучами солнца, что бьют в глаза и заливают все вокруг белым слепящим светом. Поднявшийся с ночи ветер тербит волосы мужчины, будит Клементину в его руках. Они оба до самого утра провалялись прямо на скамье у отсыревших рыбных бочек, замерзли и, должно быть, пропахли морской снедью до самых костей.

Но беспокоит Серласа не собственный запах – сырая рыба поверх алкогольных паров паба Сайомона, – а человек, что стоит прямо перед ним. Высокий, широкий в плечах. Его фигуру заливают солнечный свет, и лица Серлас не видит, только темное пятно вместо глаз, носа и рта.

– У тебя должна быть веская причина находиться здесь, – говорит человек спокойным, но очень низким голосом. – На борту моего судна не бывает бездомных бродяг. А детей не бывает тем более.

Он проглатывает звук «л» и спотыкается в конце предложения, но его речь все равно звучит угрожающе. Серлас кое-как садится, свешивая ноги со скамьи.

– Не гоните, – просит он. Проснувшаяся Клементина заводит старую песню и хнычет. Наверняка детский плач раздражает всех моряков, не привыкших даже к женской ласке, и Серлас молится всем известным ему богам, чтобы его вместе с ребенком не швырнули за борт.

– Эй, Джонс! – кричат с носа корабля. – Что там у тебя?

Серлас вздрагивает на чужой голос, облизывает пересохшие потрескавшиеся губы и жарко шепчет:

– Не гоните прочь, позвольте остаться. Мне... нам с ребенком нужно попасть в Дублин. Вы же плывете в Дублин?

– Ты ошибся рейсом, бродяжка, – хмыкает человек перед ним. – Мы плывем во Францию, и тебе на берег уже не сойти.

Он все еще не видит лица своего возможного палача и только ахает, щурясь от яркого солнца. У океана оно всегда белее, сильнее светит – его лучи отражаются от водной глади, переливаются в гребешках волн, а ветер разгоняет любой туман и мглу с неба, вычищая солнечную монету до стеклянного блеска.

Серлас осматривается, только теперь замечая, что порывы ветра сильнее бьют в лицо и царапают щеки. Океан окружает его и Клементину со всех сторон – не видно уже ни берегов Фенита, ни дальних выступов скал у Трали, ни белых в соли каменистых обрывов.

– Что делать с тобой прикажешь? – вопрошает человек, до сих пор не назвавший своего имени, не показавший лица. Серлас вскидывает к нему голову и рвано выдыхает сквозь зубы.

– Позвольте остаться. У меня есть немного денег, я могу отплатить за все.

Мужчина задумчиво чешет рукой щетинистый подбородок. Солнце и, должно быть, долгие годы выбелили ему волосы и жесткие кустистые усы. Он сплевывает себе под ноги и садится на скамью рядом с Серласом. Теперь рассмотреть его легче: широкий лоб, поделенный на три части кривыми глубокими морщинами, низко посаженные брови и прямо под ними – светлые голубые глаза, что почти теряются в тени надбровной дуги. Искривленный переломом нос и широкие губы, одна пухлее другой. Это лицо не кажется Серласу злым и жестоким, хотя в нем есть черты братьев Конноли.

– Как ребенка зовут? – кивает человек на застывшего в руках Серласа младенца.

– Клемент, – отвечает тот. И, помедлив, добавляет: – я Серлас. Не бросайте нас за борт.

Человек смотрит на него и хныкающего младенца. Клементина хватается рукой за шнурок на шее Серласа, в разрезе его рубахи звенит серебристое кольцо. Должно быть, жалкое зрелище представляют они вдвоем: измученные, грязные и потные, оба голодны – мужчина выглядит, как побитый пес, ребенок плачет на его худых руках.

Человек плюется за борт качающегося на волнах корабля.

– Черт с тобой. Никто не собирается кидать за борт едва живого, да еще и с дитем.

Нос судна с силой разрезает встречные волны, брызги соленой воды летят во все стороны. Ветер с мелкой моросью треплет волосы Серласа. Он глубоко, жадно втягивает ртом холодный воздух.

– Спасибо.

Человек фыркает.

– Придется много работать, Серлас. Будь я проклят, если увижу тебя без дела – выкину в море не задумываясь. Понял?

Серлас кивает, настолько уверенно, насколько себя чувствует. Смертельная опасность его миновала, и сейчас ему трудно думать о чем-либо еще, кроме нарастающего голода, что поднимается из живота и подступает к горлу саднящей болью.

– Я Фрэнсис, – представляется мужчина и встает, снова возвышаясь над ним. – Добро пожаловать на гукар «Теодор».

На пятый день плавания выясняется, что пользы от Серласа больше, чем кто-либо мог бы вообразить. Он драит палубу под сухим палящим солнцем, подставляя голую спину белым лучам; пот обильно струится по его лопаткам и шее, стекая на подбородок, пока мужчина, размазывая грязную воду шваброй, гонит ее по деревянным брускам в сток борта. Закончив с мытьем палубы, переходит к баку, но решает, что носовую часть и так обмывает встречными волнами – помощи здесь не требуется.

Он возвращается к помосту с пустым ведром в руках.

– Закончил? – спрашивает капитан гукара, тот самый Фрэнсис, что не выкинул Серласа за борт вместе младенцем, верно, пожалев последнего больше, чем несчастного бродягу. Серлас кивает и идет вниз, убрать ведро и швабру и взять

тряпку, чтобы протереть снасти – все, до которых дотянется с палубы.

Он понимает, что Фрэнсису пришлось нарушить несколько правил, и поэтому молча и смиренно сносит все трудности такого внезапного плавания: драит гукар от носа до кормы, моет и чистит все палубы, перетягивает ослабевшие тросы нехитрыми узлами, которые ему показали еще вчерашним утром. У него стонут руки и ноги, в ребрах давно уже проснулась застаревшая боль, но Серлас не жалуется. Да и кому бы он мог? На небольшом судне, обогнувшем южную оконечность британских островов и пересекающем теперь то ли Кельтское море, то ли уже Ла-Манш, все заняты круглые сутки. Гукар плывет так ретиво, будто за ним гонится морской дьявол, и Серлас полагает (хоть и не знает этого наверняка), что судно превышает обычную свою скорость в несколько раз. Лишь бы успеть... Куда? Зачем? Они несутся слишком быстро – но недостаточно быстро для капитана. Тот кричит на свою команду раз в полчаса: «Налегай сильнее, натягивай брамселя туже! Завтракать будешь в порту французскими булками, если успеешь к концу недели доставить всех в Сен-Мало! А нет – так вздерну тебя на рее раньше, чем попадешь к ласкарским крысам!»

Серласу кажется, что он попал на пиратское судно, слишком уж часто матросы в разговорах упоминают один частный флот. Да и наличие его самого на «Теодоре», вопреки всем неписанным правилам и государственным законам, говорит о снисхождении капитана Фрэнсиса, которого тот проявлять не должен был. Серлас не жалуется, несколько. Будь судно торговым или пиратским – ему все равно. Лишь бы увезло подальше от берегов Ирландии, да ответов на вопросы не требовали.

– Эй, нахлебник! – рычит Бертран, грузный широкоплечий мужчина, который, несмотря на телосложение, управляется со снастями, как со своими собственными конечностями, быстро и ловко. Это он, пусть и неохотно, показал Серласу простые узлы, обругал его неизвестными словами и ушел, бросив напоследок, что выкинет Серласа в Кельтское море, если тот хоть что-то перепутает. Подобная угроза звучала из уст каждого еще в первую пару дней, а потом все устали злиться.

– Протри-ка тут! – Бертран сплевывает за борт – Серлас уверен, что нарочито показательно, – и указывает на металлические кольца в палубе. – От носа до кормы пройдишь и почиши все рымы.

Серлас молча разворачивается и возвращается к баку, носовой части корабля, чтобы начать оттуда. Отираться возле ног Бертрана он не желает, хоть и соглашается с его неприятием: пожалуй, Серлас действительно нахлебничает на этом гукаре, а прикрывающий его Фрэнсис лишь хмыкает на все расспросы команды.

На полпути к корме, когда за спиной остаются начищенные до блеска кольца снастей, торчащие в палубе и бортах, Серлас замечает, что ветер усилился – тросы натянулись до скрипа, главные паруса запузырились, и корпус гукара накренился влево.

– Убрать трисели! – кричит Фрэнсис с капитанского мостика. – Шевелись быстрее, зелень подкильная, не на прогулке!

Команда приходит в движение, но не так споро, как в утренние часы: сейчас же солнце неумолимо клонится к горизонту, окрашивая небо в горячечный рыжий цвет – как волосы Нессы в последние дни жизни, как лихорадочные образы в кошмарах Серласа с пылающими кострами посреди площади.

Он гонит прочь всякие дурные мысли, насильно заставляет себя быть здесь и сейчас и первым замечает, как натягивается от очередного шквального порыва тонкий трос у борта корабля. То кольцо, рым, что он натирал только минуту назад, жалобно скрипит и с легким звяканьем, что не слышно во всеобщем гвалте, вырывается из петли в палубе.

Серлас прыгает, в последний миг успевая поймать трос за самый конец. Он стягивает палубу с подвижным брусом мачты, и тот теперь болтается на ветру, а снасть впивается Серласу в руки, словно острый нож, и точит кожу ладоней.

– Тяни его на себя! – кричит капитан. – Он тебе не баба, привяжи гик к борту, как полагается!

Большинство слов, что обрушивает капитан на него и свою команду, Серлас не понимает, но выполняет все, что требуется, без лишних вопросов. Как ни странно, его руки, словно живущие отдельной жизнью, бодро тянут тросы, пальцы ослабляют и натягивают узлы в кольцах, и все эти незнакомые Серласу действия кажутся... обычными. Возможно, права была Несса, когда говорила, что в прошлом Серлас был моряком.

Ее лицо въедается в мысли, как яд, но о нем удастся тут же забыть: вся команда вместе с капитаном вдруг напрягается, мельтешение на корабле замирает, а крики стихают, и теперь Серлас отчетливо слышит, как бьется нетерпеливая вода в борт гукара.

– Готовьтесь обмочиться, рыбы хари, – во внезапно наступившем молчании раздается голос Фрэнсиса. – У нас будут гости.

Серлас оборачивается, не успевая нахмуриться: впереди маячит быстро нарастающим пятном трехмачтовое судно. Оно крупнее «Теодора», это каким-то шестым чувством понимает и сам Серлас.

– Ну, прощелыга, – обращается к нему Фрэнсис со своего помоста, – неси сюда ребенка. Придется отдать вас гостям.

#19. Сто лет одиночества

Теодора заявление Клеменс приводит в недоумение. Она глядит на него, на то, как меняется выражение его глаз в полутьме антикварной лавки – свет уличных фонарей, бьющий сквозь широкие витрины, ломается на углах стеклянной полки и преломляется уже в его зрачках – и видит, что он просто не понимает, о чем та говорит.

– Я улетаю домой, ты слышишь?

Пару секунд уходит на то, чтобы он моргнул и кивнул.

– Летишь домой? Славно.

Его равнодушный тон выводит Клеменс из себя, так что она готова броситься вон из магазина, повторяя свой предыдущий побег. Теодор лениво окидывает взором свои владения, намеренно не глядя в лицо стоящей перед ним девушки.

– И когда возвращаешься? – спрашивает он. Тянет звуки, обрывает слова на выдохе. Как будто ему все равно.

– Я не вернусь, – отрезает Клеменс. – Надеюсь, ты рад: отделаешься от меня быстрее, чем думал.

Теодор поднимает руку к позолоченной статуэтке Ганеши на полке рядом с собой, но его рука замирает, едва пальцы касаются прохладной поверхности изогнутого хобота с полоской мелких рубиновых камней.

– Вот как... – выдыхает он. Клеменс не видит его лица – он спрятался в тени ее искривленной неровным желтым светом фигуры, – и ей кажется: ему хочется сказать больше. Что-нибудь. Что угодно. Но молчание затягивается, Теодор не двигается с места, и терпение Клеменс иссякает, как слабый ручей в засуху.

– Если это все, что ты можешь мне сказать, – говорит она, не скрывая обиды в голосе, – то я уйду. Прощай.

Она вскидывает голову, чтобы увидеть в дверном проеме из коридора изумленного Бена. Клеменс кивает ему, слабо улыбается и, махнув рукой, идет к входной двери. Происходящее не складывается в ее голове в правильную картину, все слишком быстро и путанно заканчивается, не успев начаться. Она сама не верит, что шагает прочь из антикварной лавки, едва узнав человека, за которым бегала полжизни.

Ты хотела знать правду, Клеменс. Вот тебе правда. Никто не обещал, что ее будет легко понять.

«Я не хочу уходить», – стучит в мыслях Клеменс при каждом шаге. Она даже не понимает, какой неуверенной выглядит со стороны, в каком замешательстве ее видит Теодор.

«Я не закончила. Его тайна осталась с ним, и я не успела ее раскрыть. Несправедливо, нечестно».

Это «нечестно» отдает горькой обидой и впивается в самое горло, перехватывая дыхание. Клеменс вздыхает, обрывая себя, и мотает головой.

– Не забудь про свое обещание, – бросает она через плечо и открывает дверь. Медный колокольчик над головой звенит, разрывая угрюмое молчание лавки, порыв ветра врывается в душный зал.

– Постой, – окликает ее Теодор.

Она оборачивается, резко и решительно. Он встает с кресла, делает шаг в ее сторону. Клеменс не может прочесть эмоций на его лице, оно кажется бледной маской, застывшей от времени, безжизненной. В этот миг Теодор действительно видится ей человеком, прожившим две сотни лет, которого удивить не способно уже ничто. Равно как и растрогать или обрадовать.

– Моя жизнь... – начинает он и обрывает сам себя. Не то, не те слова. Даже Клеменс чувствует: Теодор давно перестал считать свое существование жизнью. Говорить вслух подобное... неправильно. – Не рассказывай никому о том, что узнала, – наконец договаривает он.

– И все? – Обида вспыхивает в Клеменс с новой силой. – Это все, что ты мне скажешь?

Теодор молчит.

– Не переживай, – фыркает Клеменс. – Мне не с кем делиться твоими секретами. И я еще не выжила из ума.

– И тебе никто не поверит, – помогает Теодор. Она не может понять, говорит он всерьез – и это единственное, что он вообще может сказать ей на прощание, – или же шутит? У Теодора специфичный юмор, едкий и злой, выдающий обиженного на весь мир человека. Так шутят люди, готовые винить себя в своих бедах и оттого огрызающиеся на остальных. На всех, кто приходит в их жизнь. На всех, кто их оставляет.

К кому Клеменс может причислить себя? Если она уйдет сейчас, останется ли в памяти Теодора хоть капля воспоминаний?

Собственные рассуждения кажутся ей фарсом – она просто не верит, что уходит ни с чем от главной загадки своей жизни.

– И мне никто не поверит, ты прав, – язвительно отвечает Клеменс. Ей хочется вывернуть все свои слова так, чтобы побольнее уколоть ими Теодора, пробить его толстую броню, которой тот отгораживается от всего мира и от нее. Но на его лице не видно и тени сомнения.

– Удачи, господин Бессмертный, – бросает Клеменс, чувствуя себя выжатой без остатка этим мучительным бесконечным прощанием.

Если Теодор и хотел что-то добавить, Клеменс этого уже не узнает: она выходит на улицу и хлопает дверью, так что колокольчик сердито звякает и срывается с тонкой цепочки, падает к ногам Атласа и остается лежать на полу. Фигура Клеменс пропадает из виду в вечернем сумраке.

Желание выпить испаряется так же быстро, как легкие духи Клеменс – их сдувает прохладным ветром из гавани, и в воздухе не остается даже намек на ее присутствие.

– Теодор, ты идиот, – заявляет Бен за его спиной. Как будто он этого не знал.

Что ему остается? Девчонка улетает домой – он-то тут при чем? Теодор вряд ли набивался ей в няньки, сама она тоже более не горит желанием проводить с ним каждую минуту своей жизни на туманном холодном острове. Клеменс получила что хотела, вытрясла из него правду, выпотрошила и бросила, не дав спокойно умереть.

Жаль, он не умер от ножевого ранения. Девушка даже с этим не справилась.

– Ты все еще на нее дуешься, – припечатывает Бен. Он всегда был на редкость пронизательным, но сейчас его замечания терзают Теодора сильнее прежнего.

– А ты все еще заноза в заднице, – парирует Атлас.

Не терзают, нет. Раздражают. Да, именно раздражают.

– Она спасла тебе жизнь! – восклицает Бен. Он до сих пор говорит со спиной Теодора – тот не спешит обернуться, чтобы лицезреть всю эмоциональную несостоятельность своего приятеля. Выходить из себя из-за чужих проблем – это так в духе Бена.

– Мою жизнь давно никто и ничто не спасает, – отвечает Атлас, борясь с собой. Раздражение в его груди переливается через край и грозит отравить кровь. – Не стоит забывать, что мисс Карлайл преследовала свои интересы все это время. Она получила что хотела, и теперь – удивительно, не правда ли? – летит домой. Удачи ей во всех начинаниях.

– Яда в твоём голосе больше, чем в сердце, – огрызается Бен.

Теодор вздыхает и наконец отходит от витрины. Он задумчиво тербит в пальцах дверной колокольчик, и тот жалобно скребет язычком по тонким медным стенкам. Атлас оборачивается, чтобы взглянуть на друга.

– В отличие от тебя, Бен, я могу найти в себе силы, чтобы смотреть правде в глаза и говорить правду. Все люди в мире эгоисты, и не стоит думать, что любовь, привязанность или жизненные ценности как-то меняют суть человека. Мисс Карлайл – явный тому пример.

Бен качает головой. Его глаза долгое мгновение изучают сгорбленную фигуру Атласа.

– Ах, Теодор! – восклицает он таким театральным тоном, что тот удивленно хмыкает. – Ты гонишь от себя всех, кто способен хоть как-то расшевелить в тебе эмоции и прежние чувства, верно? Можешь прикрываться эгоизмом, хоть родным, хоть чужим, но не натягивай свои комплексы на остальных, мой тебе совет.

Теодор замирает, язвительная ухмылка кривит его губы.

– Тебя снова несет в полночные рассуждения?

– Оставь, а, – отмахивается Бен. – Ты столько лет прячешься от мира, что жизнь проходит мимо тебя, а ты и не замечаешь этого. Вот что ты сегодня сделал?

Прогнал милую девушку, готовую помочь тебе, только потому, что сам испугался. Скажешь, я ошибаюсь?

- Это не...

- Ты столько лет живешь, но жить не умеешь.

Все в Теодоре обмирает, сердце проваливается в желудок. Его тошнит. Эти слова... Кто вложил в уста человеку двадцать первого века эти слова? Бен не замечает вмиг побледневшего лица друга, повисшего между ними холодного напряжения. Он устало вздыхает и говорит:

- Никто не полюбит тебя, пока ты сам себя не полюбишь и не вытащишь из болота, в котором застрял по своей же воле. Никто не станет тащить тебя из пучины твоих страданий, пока ты сам этого не захочешь и не поможешь себе.

- Хватит.

Короткое слово, точно стрела, вонзается в речь Бена – такую несвоевременную, такую наигранную. Бен репетировал ее годами, чтобы сказать именно в тот момент, когда Теодору слушать его не хочется. Все внутри Атласа кипит, кровь бурлит и пенится, и раздражение давно превратилось в жгучую яростную боль. Слушать Бена физически больно: тот выбирает слова, слишком точно летящие в цель.

- Если ты думаешь, – цедит Теодор, – что я буду слушать твои нравоучения только потому, что в тебе вдруг открылся дар всезнания, то ты ошибаешься. Со своей жизнью я справлюсь сам. Без твоих подсказок, Бенджамин.

Паттерсон поджимает губы.

- Как знаешь, Атлас, – говорит он. – Я и не думал, что ты поймешь.

Они расходятся по своим комнатам в угрюмом молчании, и впервые Теодору кажется, что наутро Бен не заговорит с ним, как прежде.

Если Теодор гонит всех, кого любит, что же рядом с ним столько лет делает Бен?

Спустя три вялотекущих дня Паттерсон впервые заговаривает о поисках мальчишки Палмера самостоятельно.

– Я не думаю, что он еще в городе, – говорит Бен, отпивая горячий кофе. Утро дождливого четверга они с Теодором встречают в зале магазина, сидя на диване, которым пришлось заменить испорченные кресло и софу. Теодор задумчиво смотрит в окно витрины – по стеклу стекают крупные капли летнего дождя. Небо затянуто хмурыми тучами с самого рассвета.

– Ты его не понимаешь, Бен, – хмыкает Атлас. – Я уверен, мелкий крысеныш затаился где-то и ждет новостей. Он знал, что меня не убьет, теперь ему просто нужно в этом убедиться.

– А ты вдруг начал разбираться в людях? – язвительно спрашивает Бен, качая головой. – Как удивительно...

Теодор выгибает одну бровь, все еще не глядя на друга.

– Не вижу повода для шуток.

– Тебя двести лет не интересовала собственная душа, – поясняет Паттерсон. – С чего ты решил, что можешь понимать чужие?

Правда, с чего? Теодор молчит, вертит в пальцах керамическую чашку. Тонкий золотой ободок, тянущийся по ее краешку, блестит в тусклом свете напольной лампы рядом с ним. Лампу тоже пришлось купить взамен разбитого злосчастной ночью торшера с бахромой.

Бахрома Теодору не нравилась. Слава Морриган, новую лампу отличает простой плафон.

– Этого мальчишку было легко раскусить, – вспоминает Атлас. У Палмера-Шона дрожали руки и ноги, взгляд метался из угла в угол, как у затравленного зверька, а слова сочились неприкрытой яростью. Он себя не контролировал,

говорил заученные слова. Он не был похож на нахального подлеца, что подделал Теодору документы без лишних слов.

Маска сорвана. Осталось узнать истинную личину незадачливого убийцы.

- Что-то в первую вашу встречу никто никого не раскусил, - поддевает Бен, вмешиваясь в зудящий мыслительный процесс Теодора. Тот щелкает языком.

- Что-то и ты, мой друг, подставы не заметил.

Бен замирает с чашкой у рта. Отставляет ее на блюде и кривит губы.

- Туше.

Дождь барабанит в стекла витрины, и некоторое время оба хозяина лавки молчат. Теодор перебирает в памяти все, что помнит и знает о въевшемся в мозг мальчишке: бледные глаза, бледную кожу, мышиного цвета волосы, отросшие до плеч. Раздражающий подросток, ему точно нет тридцати, как говорила Клеменс.

Ох. Вспоминать про нее с каждым разом становится все невыносимее; Теодора изнутри пожирает чувство неясного беспокойства, и что-то скребется в груди всякий раз, как Бен касается этой темы. Или же сам он приходит в мысленный тупик, стоит только всплыть смутному образу девчонки. Это похоже на совесть, только вряд ли Теодор испытывает нечто подобное. С какой стати? Из них двоих именно Клеменс должна мучиться и грызть себя изнутри.

- Возможно, это нам поможет, - говорит Бен, возвращаясь из коридора. Как он уходил, Теодор не заметил вовсе. Паттерсон кладет на кофейный столик перед ним пачку фотографий - его фотографий с неправильно проставленными датами.

- Клеменс оставила, - поясняет Бен в ответ на хмурый взгляд приятеля. - Это те снимки, что ей присылал Шон.

- Шон, значит, - ядовито замечает Теодор и цокает языком. - И как же это поможет нам его отыскать?

Теодор не видит, как Бенджамин возводит глаза к потолку, прежде чем сесть и вздохнуть.

– Я не знаю. Но у нас есть только это и ничего больше.

Теодор тянется к фотографиям против своей же воли. Пальцы перебирают черно-белые снимки, глаза подмечают детали, которые никому другому не покажутся значимыми. Вот он в толпе зевак перед зданием суда в Нью-Йорке – Лаки Лучано обвинен в организации сети притонов, Томас Дьюи[6 - Томас Дьюи – прокурор штата Нью-Йорк в 1936 году.] выносит ему приговор: тюремное заключение на срок от тридцати до пятидесяти лет. На вырезке из старой газеты – только затылок Лучано, он смотрит в толпу. Теодор знает: глава «Большой семерки» увидел его и крикнул что-то по-итальянски, проклял, глядя ему в глаза. Лаки решил, что, исчезнув, бутлегер Филлип Уиллард пошел на сделку с властями, чтобы избежать смерти от палачей «Коза ностра». Как же он ошибался... Причины побега Уилларда, проклятия вслед – Лаки был умен, но не видел главного: Филлипу были не страшны ни казнь от рук мафии, ни итальянские заговоры.

На самом деле Филлип защищал Веру.

Теодор жмурится, гоня прочь вспыхнувшие образы. Они яркие и цветные, совсем не как серые фотографии прошлого века. Они обжигают точно так же, как и пятьдесят, шестьдесят лет назад. У Веры большие грустные глаза и тонкие губы, редкие веснушки на узком бледном носу. У Веры темные волосы, собранные в пучок на затылке, и она поправляет их всякий раз, когда начинает нервничать, чтобы спрятать дрожащие пальцы за ушами и скрыть неловкость.

Теодор откладывает в сторону газетную вырезку с Лучано. Пальцы ведут вдоль потрепанных уголков старых снимков, касаются шершавой бумаги на изгибе фотографии военных лет.

Вот по колена в мутной речной воде стоят пятеро солдат. Это было в дельте Меконга во время праздника Тет[7 - Праздник Тет, полное название Тет нгуен дан (дословно «праздник первого утра») – вьетнамский Новый год по лунно-солнечному календарю; государственный праздник во Вьетнаме, самый важный и популярный праздник в стране.]. Винсент Трейнор, американец из Детройта, прячется от объектива фотокамеры за плечом соратника, Фрэнка Лэйка,

крупного парня со светлым ежиком волос. Фрэнку было двадцать два года, и он погиб одним из первых в роте Б при высадке у Сонгми.

Винсент отказался стрелять, как только понял, что в деревне нет ополченцев. Он получил пулю в спину от своего капитана, но упал лицом в канаву у рисового поля и остался лежать, глотая грязную воду, а чуть позже узнал, что с другой стороны Сонгми рота с убивает всех, кого видит. Он сбежал туда, как только нашел в себе силы подняться, но нашел только мертвых жителей и зловещую гудящую тишину.

А потом подорвался на случайной мине.

Винсента сначала признали погибшим, потом посмертно обвинили в дезертирстве. И опять никто не узнал правды: Винсенту не страшны были пули и взрывы, а вот горы мертвых тел испугали до обморока, в который он проваливался всякий раз, как вспоминал о случившемся в Сонгми. Даже спустя столько лет Теодор с трудом может думать об этом.

Он и теперь отворачивается от разложенных на столе фотографий, пока на обратной стороне его век отпечатываются в дрожащих блеклых вспышках бледно-желтые лица детей и женщин. Сотни мертвых тел. Ту операцию официально признали резней лишь спустя десятки лет.

– Тебе не обязательно с таким упрямством рассматривать все это, – тихо произносит Бен. Его мягкий голос вытягивает Теодора из болота воспоминаний, выпускает на свободу.

Теодор стискивает в руке фотографию солдатского отряда. Из пятерых в живых остались трое, но о терроре в Милай молчали все. Включая Винсента. Он перебрался в Нью-Йорк, сменил имя, пользуясь своей подставной смертью, и решил забыть о войнах навсегда.

– Теодор.

Бен аккуратно вынимает у него из рук скомканный снимок и отодвигает в сторону остальные.

– Ты прав, я не буду их рассматривать. Это... – Теодор запинается, пытается подобрать правильное слово. – Это все лишнее. Зачем ты вообще притащил их сюда? Как будто я сам про себя не расскажу.

Он чувствует собственную уязвимость и потому вспыливает, как подросток.

– Проклятье. Как это поможет отыскать крысеныша Палмера?

– Шона.

– Мне наплевать, пусть хоть Дейла Купера[8 - Дейл Бартоломью Купер – вымышленный персонаж телесериала «Твин Пикс», специальный агент ФБР.]!

Бен терпеливо ждет, пока Теодор успокоится, и только потом, не повышая голоса, говорит:

– На фотографиях стоят даты, если ты не заметил. Клеменс сказала, что их проставил Шон, и они неправильные. Например, – Паттерсон тянется к самому потрепанному снимку – пыльная дорога, идущая по ней рота уставших солдат в форме американских войск времен Второй мировой войны. Это было на Окинаве, Теодора звали Эндрю, и на снимке он отмечен жирным полукругом.

– Например, вот здесь, – тычет в фотографию Бен. – Это было в сорок пятом? А Шон поставил совсем другую дату, смотри.

В засаленном углу стоят полустертые от времени цифры. Январь 1983.

– Это было в начале лета 1945, – хмурится Теодор. Двигается ближе к столику, выхватывает у Бена снимок. – Здесь еще слово. Карандашом написано, видишь? Кажется, «Абердин, Вашингтон».

Бен охает.

– Ты там жил?

– Не помню. Не после войны. – Теодор качает головой и рассеянно бросает фотографию на стол к остальным.

В те времена еще были живы знакомые его прошлых жизней. Вера была жива. Ни Эндрю, ни Винсент не сунулись бы так глубоко в Штаты.

В задумчивости он кусает губу и тербит кольцо на мизинце. Глаза бегают по полкам с товарами, мозг отказывается соображать. Если все это имеет хоть какой-то смысл, то Теодор его не находит. Возможно ли, что оставленные Палмером подсказки не значат ничего? Возможно ли, что он пытался задурить голову Клеменс?

Или что Клеменс дурит голову Теодору?

– На других фотографиях тоже неверные даты, – замечает Бен. Хмурится, вертит в руках один из снимков, нисколько не заботясь о том, что с пожелтевшей от времени фотокарточки на него смотрит угрюмый бритоголовый солдат с лицом Теодора. Этого человека звали Шей Эли. Он был ирландцем и жил одним днем, надеясь на смерть от любой пули.

– Я устал, – признается Теодор, бросая на стопку фотографий полный отвращения взгляд. Бен этого не видит. – Каким образом это все поможет отыскать мелкого гаденыша? Мы только зря теряем время.

– У тебя есть какие-то другие зацепки? – выгибает бровь Бенджамин.

– Представь себе.

Теодор встает с диванчика – ноги затекли и не слушаются, а в ребрах опять проворачивается лезвие антикварного ножа, так резко боль бьет его в рану. Он обходит полку с мелкими статуэтками и ленивым жестом подхватывает с тисового стола (в нем раньше пряталась начатая бутылка виски, но Клеменс все прикончила – половину пролила, половину выпила, и все равно нервничала до дрожащих рук) запачканную кровавыми подтеками записку.

«Навеки проклят, не так ли?»

Фомор его знает, что значит эта издевательская фраза. Она правдива и оттого еще более ненавистна, но кроме нее и еще двух записок, не связанных друг с другом, у Теодора ничего нет. Кто-то играет с ним, как с ребенком, надеясь, что

в Атласе проснется дух соперничества.

Но он не мальчишка Палмер. Ему не двадцать лет, он не увлекается детективами и уж точно не...

– Теодор! – Окрик Бена сотрясает воздух, и Атлас вздрагивает, тут же морщась от боли в боку. – Кажется, я кое-что нашел...

Теодор ковыляет к дивану, на котором Бен уже разместился с ноутбуком в руках и сейчас выстукивает по клавишам не хуже секретарш тридцатых годов. Быстро и громко, с остервенением вколачивая несчастные кнопки в металлический корпус компьютера.

– Смотри! – воодушевленно говорит Бен, сбрасывает фотографии со стола одним рывком и ставит перед Теодором ноутбук. – Я прогуглил несколько указанных мест со снимков. Абердин, Дартфорд, Ливерпуль, Лондон, Лос-Анджелес... Знаешь, что объединяет эти города?

– Алфавитный указатель?

Бен замирает, нетерпеливо цокает, фыркает.

– Нет же! – восклицает он. – Все эти города – родины музыкальных групп. «Нирвана», «Металлика», «Лед Зеппелин», «Битлз». Понимаешь?

– Пока не очень. – Теодор вдавливая пальцы в борозду морщины на лбу, пытается распрямить ее. Голова гудит и не хочет работать, но приятель, похоже, готов думать за двоих. Теодор глубоко вздыхает, прежде чем ловит в мыслях ускользящий образ. Яркие плакаты кислотного цвета на серых стенах комнаты Палмера. Нарисованное солнце и дирижабль с подписью Led Zeppelin.

Резко и без предупреждения разрозненные картинки собираются в одну ясную мысль, как кусочки мозаики, с оглушительным щелчком. Так встают на место пазы шестеренок в старых часах.

– У Палмера в доме стояла барабанная установка, – говорит Теодор внезапно осипшим голосом. – И плакаты висели на стенах, много.

– Он наверняка фанат старого рока, – кивает Бен, уже бороздя просторы Интернета. От быстрого мельтешения на экране у Теодора кружится голова, глаза не успевают прочесть ни строчки поисковых запросов, и он просто отворачивается от ноутбука. Несмотря на то что во Всемирной паутине теперь можно найти все что угодно, Теодор не подходит к адской машине Бена; от нее садится зрение, болит голова, и шумит она хуже ворчливого старика.

Паттерсон, не отвлекаясь от своего занятия, протягивает Теодору свою кружку.

– Сделай мне чай, раз от тебя нет никакой пользы.

Почти не обидевшись, Атлас идет на кухню. Все что изволите, только не сидеть рядом с ярко-белым экраном, слепящим глаза. Пока он кипятит воду и заваривает пуэр, Бен успевает пройти по следу своих догадок. Теодор возвращается к нему в зал магазина, когда Паттерсон победно потирает руки.

– Тебе это не понравится, – хмыкает он. – Мы едем в Труро на рок-фестиваль.

#20. В погоне за Королевой

Третий ежегодный фестиваль альтернативной музыки в Труро. Более странное мероприятие, которое Теодор в здравом уме не посетил бы ни в коем случае, и придумать нельзя. Тем не менее в пятницу они с Беном впопыхах проводят быстрые сборы, чтобы на следующий день выехать еще засветло и попасть к самому открытию фестиваля. Как ярые фанаты из числа молодежи.

– Вот! – Бен радостно бегает по комнатам, словно только и ждал случая выбраться и «потусоваться». – Я нашел нам униформу.

Он останавливается в дверях спальни Теодора. У него в руках две черные футболки с кричащими логотипами каких-то рок-групп и неадекватными лозунгами, пропагандирующими разврат и анархию в обществе.

– Какую тебе?

- Ты издеваешься? - возмущается Теодор. - Я тебе кто, хиппи невытый?

- «Квин» или «Роллинг Стоунз»? - не унимается Паттерсон, явно вознамерившись свести друга с ума подобными выходками. Теодор снова чувствует себя бесконечно далеким от молодого поколения, вечно брюзжащим стариком, рядом с которым Бенджамин пышет яркой энергией и вновь кажется юным. Идеальный максималист, фанат семидесятых и приверженец классики рока - таким Паттерсон был в годы своей юности, и вся эта взрывная смесь так осталась при нем, спрятанная под пиджаками классических костюмов и за медицинскими лекциями.

- Думаю, старик Фредди тебе больше подходит, - кивает своим мыслям Бен и бросает Теодору футболку с изображением человека в смокинге в окружении свеч.

- Я не надену это! - вопит Атлас. - Что за фокусы, Бенджамин?

- Кто хоочет жизни вечно-ой![9 - «Who Wants To Live Forever» - песня из репертуара группы Queen.] - нараспев цитирует Бен. - Брось, отличная футболка. Лучшая из моей коллекции.

Когда Теодор морщится и поджимает губы, Паттерсон хмыкает:

- А ты думал, на рок-фестиваль можно заявиться в костюме-тройке при полном параде? Теодор, тебя вся молодежь камнями закидает.

- Разве обязательно прикидываться грязными рокерами с нечесаной головой? - бурчит Теодор, разглядывая потрескавшийся и посеревший от времени принт на черной ткани футболки.

- Почему сразу нечесаными? У тебя совершенно нелепые представления о старых рокерах, Теодор. Ты же их видел, они нормальные ребята.

- Были нормальными в середине прошлого века, - фыркает Теодор. - Представляю, как они выглядят сейчас. Седовласые скелеты в кожаных куртках, костлявые панки семидесятых.

Бен закатывает глаза, что-то бурчит под нос и, тяжело вздыхая, припечатывает:

- Тебе придется влиться в толпу. Ты же хочешь найти Шона?

- Палмера, - привычно поправляет Теодор. Перспектива разодеться в стиле американских хиппи ему не улыбается. - Нельзя ли обойтись без переодеваний?

В ответ Бен только качает головой и уходит, красноречиво высказав этим все свое отношение к придиркам Теодора. Оставшись наедине с потрепанным, выцветшим Фредди Меркьюри, Теодор представляет себе бесконечно долгий завтрашний день и заранее испытывает отвращение. Будь проклят этот Палмер с его рок-фестивалями.

«Миникупер» Бена, виляя по узкой дороге, несется на северо-восток, в Труро. Солнце успело подняться выше линии горизонта на целую ладонь и теперь упрямо бьет в глаза. Бен стучит по рулю в такт со звучащей из радиоприемника песней, Теодор щурится и воюет с солнечным светом.

- В бардачке лежат солнечные очки, - подсказывает Бенджамин, замечая выставленную вперед руку Атласа.

- Так я еще больше буду похож на наркомана в отставке, - бурчит тот. Футболку Бена ему все же пришлось надеть, и Теодор, скривив лицо, теперь кидает в сторону приятеля язвительные комментарии раз в пять минут.

- Ну и каков твой план? - спрашивает он. - Что, если мы не найдем его среди выступающих? Может, он вообще там не появится, а мы, как два идиота, заявимся в самую гущу фанатиков кожанок и перхоти и проторчим среди них до ночи?

- Боже мой, Теодор, - с явной усталостью в голосе вздыхает Бен. - Успокойся. Я все узнал, он там будет. Они выступают третьими по счету.

Паттерсон протягивает Теодору распечатанную на обычном листе программу фестиваля с обведенным ручкой названием музыкального коллектива. Среди

прочего сброда кричащих имен этот ничем не выделяется.

- «Скрим Пикс»? Ты уверен?

- Я их прогуглил, - кивает Бен, сворачивая по кругу на второй съезд. «4,5 мили до Труро», гласит дорожный указатель. Бен выворачивает руль налево до упора.

- Так вот, этой группе года три, и Шон - то есть Палмер, - их барабанщик. Я видел фотографии, ошибки быть не может.

Теодор поджигает губы, силясь придумать еще одну причину, по которой их с Беном мероприятие обречено на провал. Ему кажется, что это ловушка, что они все сами выдумали; не может этот проныра попасться так легко. Ребра предательски зудят и скрипят, как старая телега, и Теодор боится перспективы вновь получить ножом в селезенку. Он сам за три минуты может вспомнить массу способов заколоть человека в толпе беснующихся людей.

- Мы приедем, затеряемся среди молодежи, - кивает своим мыслям Теодор, лишь бы скоротать время в дороге и заставить себя думать о поимке Палмера, а не о сверле в своем боку. - Допустим, мы увидим этого гаденыша до того, как он нас узнает ... а он вполне способен углядеть меня раньше. Придется ловить его по всему стадиону, а потом тащить в укромное местечко, которое еще тоже надо бы придумать. Ты не думаешь, что план у нас идиотский?

- Думаю, - очень серьезно кивает Бен. - Но другого пока нет. Согласен?

Внезапно Теодору кажется, что последний день поменял их с Беном местами: теперь Паттерсон выдает глупейшие идеи, а Атлас молчаливо и понуро за ним следует. Дон Кихот и его оруженосец. Смешно и глупо.

- Если его там не будет, придется искать новые зацепки, - говорит Бен уверенным тоном. И нехотя, как кажется Теодору, добавляет: - Только Клеменс подтвердила мои догадки. И она согласна, что Шон будет на фестивале.

- Ах Клеменс... - цедит Теодор. - Мне следует опасаться еще и ее внезапного появления?

Бен качает головой.

– Вовсе нет. Она сейчас в Лионе с матерью. Мы с ней... Переписывались. Вчера вечером.

Если бы Теодор сидел за рулем, он бы вдавил педаль тормоза в пол до упора. Но на месте пассажира ему приходится только молча вскипать и прятать эмоции за слоями отчужденного равнодушия, скепсиса, снова равнодушия – и, наконец, деланного раздражения.

– И как скоро ты хотел мне это сообщить? – спрашивает он, не глядя на Бенджамин. В зеркале заднего вида отражается его беглый взгляд.

– Я вообще не обязан был тебе это сообщать, – огрызается приятель.

– Да неужели? – вскидывается Атлас. – Ты забыл? Мы с ней больше не водимся, Бенджамин, она нам соврала.

– Это ты с ней не водишься. Я вообще не собирался строить из себя обиженного и обделенного только из солидарности с тобой. Хватит с девочки и твоего яда.

Теодору так не кажется. Из клубка собственных чувств по отношению к Клеменс он не может выделить ни одно, поддающееся словесному описанию, и до этих пор надеялся, что Бен поймет его без всяких объяснений. А теперь оказывается, что они по разные стороны баррикад, и Атлас вновь один в своей битве с миром.

– Я понимаю, – говорит вдруг Бен, – ты на нее зол. Но Теодор, послушай...

Тут он запинается – впереди маячит мост через реку, на котором ведутся дорожные работы, и Бену приходится сбавить скорость. Теперь они продвигаются в черепашьем темпе.

Теодор не торопит приятеля, но и поддерживать разговор не желает. Бен не поймет. При всем своем необъятном чувстве привязанности он не способен определить без лишних разъяснений, что гложет Теодора, а сам Теодор вслух рассказывать о таком не будет. Ведь все ясно как день. Разве нет?

Они минуют мост и набирают прежнюю скорость, а Бен заметно расслабляется – хоть он и скрывает свои страхи, те лезут наружу всякий раз, когда рядом оказывается что-то, напоминающее о прошлом. Теодор молча наблюдает за ним и ждет того самого знака. Когда зрачки голубых глаз Бенджамина вернуться в прежнее состояние и он перестанет стискивать холодеющими пальцами ободок руля.

– Так вот, Теодор, – продолжает Бен, – послушай. Ты думаешь, что она тебя предала, что узнала всю правду и сбежала, верно? Потому что ты ей больше неинтересен, так?

Это так похоже на Бена и так... неправильно. Теодор мотает головой, но приятель воспринимает его возражение по-своему.

– Не отнекивайся, я понимаю, что тебя это задевает больше, чем ты хочешь показать. Только дело в том, мой друг, что никто тебя предавать не собирался. И сбежать от тебя она не хотела. И все это выглядит нелепо и глупо, что вы друг на друга дуетесь, как маленькие дети.

– А ты пытаешься играть роль старшего воспитателя, так? – устало бросает Теодор и отворачивается к окну. По ту сторону мутного затемненного стекла мелькает однообразный зелено-желтый пейзаж из деревьев и травы.

– Я пытаюсь вас помирить, – возражает Бен. Видя, что разговор их заходит в очередной тупик, он сосредотачивается на дороге и только спустя минуту задумчиво прибавляет к своей последней фразе: – Ты бы знал, какая деспотичная у нее мать...

Фестиваль музыки в Труро проводится на стадионе «Тревью Роуд», так что они объезжают город по западной трассе и оказываются на месте ровно в девять. Бен выскакивает из машины первым, за ним, еле волоча ноги, плетется Теодор.

– Очки надень! – шикает Паттерсон, пока сам цепляет на нос квадратную пару темных стекол. Теодор закатывает глаза за спиной приятеля.

Их пропускают не глядя: людей на входе слишком много, все без разбора протягивают охране свои билеты, в суматохе получают порядковый номер – росчерк маркера на ладони – и вливаются в людской поток, тянущийся вглубь стадиона. Теодор протискивается между пухлощекой женщиной средних лет и ее карикатурно тощим кавалером с седой бородой и находит глазами Бена. Тот машет ему у трибуны. На его ладони красуется непримечательное «234».

– Пожалуй, ты был прав! – перекрикивая зудящую толпу, кивает Бенджамин. – Здесь слишком много людей, мы не сможем отыскать Шона до начала выступления!

Теодор вжимается спиной в пластиковое ограждение трибуны, с неудовольствием считая уже девятый тычок в раненые ребра.

– В жизни не поверю, что всем этим недоумкам так уж интересна музыка, – цедит он сквозь зубы. Бен его не слышит, так что Теодор позволяет себе пару непечатных слов в адрес очередного неуклюжего прохожего.

– Идем! – вдруг рявкает Паттерсон ему в ухо и тащит за собой прямо в пекло. Теодор ковыляет за приятелем, как огромная собака самой угрюмой породы, расталкивает локтями чересчур прижавшихся друг к другу людей и с наслаждением отвечает руганью на ругань. Бен лавирует между мужчинами и женщинами на своем пути, как рыба в воде.

Теодор кое-как протискивается к высокому, футов восемь в высоту, деревянному постаменту со столом и пятью стульями. Бен уже изучает прикрепленную к его стенке программу фестиваля.

– Наши ребята будут выступать третьими, как я и говорил, – восклицает он. У Теодора возникает смутное подозрение, что все происходящее здесь Бенджамину очень по душе.

– Прекрасно, – кивает он, не скрывая сарказма в голосе, – предлагаю протискиваться в сторону сцены. К выходу Палмера мы как раз успеем подползти на десяток футов.

– Если поторопимся, успеем застать его вон там, – говорит Бен и указывает на неприметный фургон, стоящий в трех футах от установленной сцены в центре

стадиона. Вокруг нее кишат люди и с такого расстояния кажутся муравьями. Почти все они одеты в черные футболки, черные толстовки, кожаные и темные джинсовые куртки, так что сходство складывается почти идеальное. Черная масса гудящего муравейника.

– С чего ты решил, что он будет в том фургоне? – спрашивает Теодор, щурясь от солнца. Зря он не взял очки, как советовал Бен. Бену знать это не обязательно.

– Я почти уверен, что это гримерка, – поясняет Паттерсон.

– И зачем ему быть в гримерке? – Удивление в голосе Теодора почти настоящее, но Бен, видимо, думает, что мужчина снова язвит, поэтому закатывает глаза и идет вгрызаться в толпу.

– Ты застрял в своем восемнадцатом веке, Теодор! – кричит Бен за спину, пока они друг за другом медленно пробираются к фургону. – Пора бы проснуться и жить в настоящем мире!

Теодор прикидывается оглохшим на оба уха и не отвечает. Он чувствует себя Моисеем, что разделил надвое Черное море, только сил в нем недостаточно, а море слишком упрямо и обладает собственной волей, поэтому ему приходится руками расталкивать людей. Мужчины, женщины, даже дети – здесь собралась вся округа Труро и близлежащих городов, не иначе. Теодор выставляет вперед ладонь с выведенной на ней черной меткой «249», отодвигает влево подростка в длинной не по размеру майке, вправо толкает лысого мужчину в камуфляже.

Фестиваль тем временем объявляется открытым, и без того громкая толпа взрывается криками. «О нет...» – с отчаянием думает Теодор. Перед глазами у него пляшут точки в форме человеческих голов.

К концу этого путешествия, как Теодор и предполагал, на нем не остается живого места; все тело болит, а ребра стонут с удвоенной силой и норовят снова выскочить из еле зажившего мышечного корсета. Стоило предусмотреть такое сумасшествие и запастись обезболивающим, но виски Бенджамин брать с собой запретил.

– Больше никогда... – выдыхает Теодор, сгибаясь к земле. У него кружится голова – то ли от боли, то ли из-за безумия, что творится вокруг, то ли из-за

собственного амбре: теперь от него, как он и думал, пахнет всем спектром ароматов, от женских сладких духов, приторно забивающих ноздри, до кислого мужского пота. Так пахли бордели мелких французских городков, так пахли пабы старушки Ирландии.

– Идем, – опять бросает Бен и тянет Теодора. До фургона остается всего пара футов, когда дверца его распаивается – очевидно, от удара ноги, – и оттуда вываливаются несколько человек. Все невысокие и худые, с бледной кожей и щуплыми руками и ногами. Они похожи на Палмера, но мальчишки среди них нет.

– Эй, Байерс, поторапливайся! – кричит вглубь фургона один из них и уходит последним. В открытом проеме двери на мгновение показывается мышино-серая голова.

– Отлично! – цедит Теодор и бросается к фургону первым. Бен, охнув, спешит следом за ним.

Все складывается чересчур гладко, но Теодор об этом не думает: когда он врывается в тесную коробку фургона, все в нем кричит, предчувствуя приближающуюся кульминацию сегодняшних мучений. Палмер оборачивается с видимым раздражением, но оказывается лицом к лицу с Теодором и... молча падает на раскладной стул.

Немую сцену довершает вваливающийся после приятеля Бен, запыхавшийся и вострапанный.

Несколько секунд все трое просто разглядывают друг друга.

– Ну? – разрывает молчание Палмер.

Его гнусавый сиплый голос будит все уснувшее в Теодоре раздражение, и он с силой захлопывает дверь фургона. Все трясется и скрипит, с полочки у крохотного окна падает зеркало и раскалывается на три куска.

– К несчастью, – комментирует Палмер. Похоже, его нисколько не удивляет визит Теодора, а вот на Бена он посматривает с опаской.

– А ты совсем не удивлен, – припечатывает Теодор. Необъяснимая злость, которая кипела в нем при виде Палмера до ночного инцидента, теперь имеет причину, и он с каким-то нездоровым удовольствием стискивает руки в кулаки, кривит губы и весь подбирается, как перед прыжком.

– Клеменс меня сдала, – не спрашивает, утверждает Палмер, вместо того чтобы пугаться и искать пути отступления. Как Теодор и думал: этот не станет прятаться по углам.

– Раз ты сам все знаешь... – Атлас подтаскивает ногой раскладной стул поближе к мальчишке и садится, как можно медленнее и ленивее. Кости ломит и крошит тупой глубокой болью, и он прилагает все усилия, чтобы не казаться разваливающимся стариком рядом с этим мелким выскочкой.

– Что, хочешь поговорить? – вскидывается Палмер. – Поиграем в доброго и злого полицейского? А что, вас тут как раз двое!

Бен за спиной Теодора неуверенно переминается с ноги на ногу. Хорошо, что сейчас он молчит, хотя было бы гораздо легче выпытать у мальчишки все, что нужно, если бы Паттерсона в фургоне не было.

– Я задам пару вопросов, – медленно и с расстановкой говорит Теодор. – Ты на них ответишь. Твои кости останутся целы.

Палмер впивается с него своим взглядом, после чего прыскает со смеху.

– Ой да бро-ось! – театрально восклицает он. – Ты же разваливающийся агрегат прошлого столетия! Ты будешь мне угрожать?

Теодор щурится.

– Ты ничего мне не сделаешь, пока рядом с тобой этот лабрадор, – Палмер кивает в сторону Бена и скрещивает на груди руки. Худые, бледные, такие не смогут задушить и отбиться не смогут, если Теодор вдруг кинется на мальчишку. Остановить его Палмер сможет только проверенным уже способом, а ножа в этой тесной коробке фургона с ним нет.

– Я не убью тебя, если ты об этом, – выделяя каждое слово, произносит Теодор, – только потому, что дал обещание. Скажи спасибо подружке.

Палмер кусает губы. У него дергается одна нога, Теодор видит это и хмыкает. Правильно, гаденыш, понервничай.

– Это она тебя залатала? Бедная малышка Клеменс! Решила, будто ты заслуживаешь спасения, – он запинается, сплевывает в сторону прямо на пол, будто не может сдержать в себе все отвращение, и наконец поворачивается к Теодору тем лицом, с которым и остался в его памяти: бледное, неприятное, искаженное яростью.

– А ведь мы с тобой, – заикаясь, договаривает он, – оба знаем, что тебе место в аду, ублюдок.

Теодор фыркает.

– Это я уже слышал. И я с тобой согласен.

– Теодор... – тихо выдыхает Бен, но оба они – и Атлас, и мальчишка – больше не видят в фургоне никого третьего.

– Пожалуй, мне стоит тебя поблагодарить, – продолжает Теодор. – За попытку меня убить. Бесплезную, конечно. Но и на том спасибо.

Он упирается локтями в колени, склоняется ближе к Палмеру. Тот похож на взведенный курок пистолета, готового выстрелить в любой момент.

– Я вижу, тебе не терпится на тот свет отойти, а? – шипит мальчишка, стискивая пальцами спинку раскладного стула, на котором сидит.

– Мне не терпится послушать твою интересную историю. И еще не терпится съездить тебе по лицу вот этим стулом. Уверен, мы найдем компромисс, если ты все мне расскажешь.

– Спроси у Карлайл, пусть сама все рассказывает!

Атлас стискивает зубы. Несколько секунд ему требуется, чтобы взять себя в руки и не накинуться на трясущегося в припадке Палмера.

– Можешь не клеветать на нее, – цедит Теодор. – Все, что могла, она уже мне рассказала. Теперь твой черед, приятель.

Мальчишка замирает. Его губы складываются в ехидную ухмылку, и он с явным удовольствием говорит:

– Ох, неужели эта девочка тебя испугалась? Узнала о тебе всю правду и сбежала под крыло папеньки с маменькой, я прав?

В то же мгновение, как последний звук вылетает изо рта Палмера, Теодор одним рывком бросается на него и хватается за ворот линялой футболки, чтобы в следующую секунду замахнуться и с огромной, заполняющей тесное пространство фургона яростью, врезать кулаком мальчишке прямо в нос.

– Теодор! – кричит Бен. Он хватается друга за плечи и тянет назад, пытается оттащить от хохочущего в голос Палмера, как будто ему дорога жизнь этого никчемного безумного эпилептика. Тот свалился со стула и корчится на полу. У мальчишки окровавлен нос, губы красные и оскал зубов быстро покрывается розовой слюной.

Теодор замахивается второй раз.

– Либо ты рассказываешь мне все что знаешь, либо я изобью тебя до смерти! – рычит он под причитания Бена и сумасшедший смех Палмера.

– Попробуй, говнюк! – глотая кровавую слюну, вопит тот. – Посмотрим, как это у тебя получится!

Что-то в его голосе, в интонациях, в той уверенности, с которой он выставляется, заставляет Теодора разжать кулак и отпустить ворот его футболки. Палмер с гулким стуком ударяется головой об пол.

– И это все? – Его взгляд мечется с лица Теодора на его руку, а потом он тоже вдруг обмирает и поднимает глаза обратно. – А-а-а... Дошло, наконец?

Теодор грузно опускается на пол перед мальчишкой, неверяще всматривается в мелкие черты его узкого лица. Бледная кожа, заплывшие глаза, мышинного цвета волосы. Неприметный, неприятный.

- Что? - охает Бен позади них. - Что дошло?

Палмер облизывает губы и растягивает их в самодовольной усмешке.

- А ты полагал, ты один такой бессмертный? - ядовито спрашивает он.

#IV. Одинокая шлюпка в море

Во влажном, соленом воздухе рассеивается в колючем ветру один только вздох.

Ох.

Серлас знал, что рано или поздно людская доброта обернется обманом: так было всякий раз, каждый раз. Стоило ли ждать от чужих людей добродетели, когда и сам он не был перед ними чист? Но теперь, сколько бы вопросов он себе ни задавал, как бы ни пытался отыскать свою вину, остается только одно. Боль. Снова предали, по его вине и лишнему доверию. Серлас-глупец, чужак Серлас!

- А ты решил, тебя на борт из жалости приняли? - шипит Бертран, не сводя глаз с горизонта. Перед маленьким гукаром, приближаясь, вырастает трехмачтовый фрегат; в его паруса задувает ветер и несет вперед по волнам, все ближе и ближе к «Теодору». В конце концов взгляд незадачливых моряков с капитаном Фрэнсисом во главе может различить темно-красную вязь на сером прямом парусе фок-мачты.

«Lescq».

- Индюки ошипанные, - плюется в сторону приближающегося судна Бертран и поворачивается к капитану. - Что делать будем?

Фрэнсис теревит правой рукой жесткий белый ус, не сводя глаз с фрегата. Кривит губы, так что один их уголок тянется вниз, а другой бежит вверх, и Серласу не нравится эта ухмылка. Если слова и можно было понять неправильно, то подобный взгляд и кривой изгиб губ прочесть по-другому никак нельзя: «Не жди ничего хорошего, чужестранец».

Серлас давным-давно выучил эту простую азбуку.

– Позволим этим Джимми подойти ближе, – наконец говорит капитан гукара. Команда слушает его с настороженным вниманием, а Серлас – с ухающим в груди сердцем. Каждое новое слово пугает его все больше.

– Этого, – Бертран кивает на чужака, что за все три дня не сумел завоевать его доверия, – им отдадим?

– Именно, – хмыкает Фрэнсис. И добавляет, глядя прямо в худое лицо Серласа: – Преступник должен быть осужден по закону.

Слова оправдания застревают у мужчины в горле; он оглядывается на столпившуюся у мостика команду – десятки глаз впиваются в его изможденное, ослабленное долгими скитаниями тело, будто довершая начатое людьми в Трали. Серлас враз становится еще бледнее, тоньше, будто мир в лице одной корабельной команды стирает его со своего полотна.

– ...не преступник, – звуки продираются сквозь страх из пустой груди, как из сухого колодца. Серлас сжимает руки в кулаки и с силой, жмурясь, выдавливает из себя снова: – я не преступник. Вы спутали меня с кем-то.

Капитан Фрэнсис, глядя на него с мостика высотой в несколько футов, клонит голову, скрещивает на груди руки.

– Спутали? – ядовито переспрашивает он. – Что ж, может, и спутали. Да только деваться тебе, Серлас-бродяга, некуда. В руки Джимми или на корм рыбам – что выберешь? Твоему сыну вряд ли придется по душе холодные ванны.

Тяжелые шаги огромных сапог с каблуками возвещают, что Бертран, которого Серлас, слушая капитана, потерял из виду, вернулся на палубу из нижних деков.

В руках у него – сверток, где копошится ребенок.

Клеменс, Клементина. Не спасло тебя даже мужское имя.

Серлас разочарованно стонет. Похоже, извечный страх за жизнь малышки сделал его сердца камнем, что теперь способен только дробить грудную клетку и причинять боль, но не испытывать должного испуга или злости. Бремя страстей человеческих, кажется, навсегда покинуло его разум и тело: Серлас страшится уготованной участи без прежнего раскаяния.

– Скажем, что ты тот беглый убийца, что поджег паб в Фените, – делится с ним капитан, пока Бертран, морщась от негодования, пихает в руки замершему Серласу его дитя. Клементина заливается звонким плачем, и в застывшем знойном воздухе звук ее голоса несется все выше и выше, сливаясь с редкими порывами ветра и криками крупных белых птиц.

– Но я ничего не поджигал! – отчаянно кричит Серлас. Он знает, что оправдываться теперь бесполезно, ведь Фрэнсис вынес ему приговор еще до появления вражеского фрегата на горизонте.

– Нет? А я слышал, что один чужак пришел в Фенит со свертком, подозрительно похожим на младенца, и жил в деревне недели две. Искал подходящий корабль на пристани, просил рыбаков увезти его прочь из Ирландии.

Пот струится вдоль костлявой спины Серласа. Он стоит, прижимая к себе плачущую – о, она снова плачет! – Клементину, и глядит только на капитана судна. Кидать косые взгляд на остальных членов команды он уже не в силах, да и Фрэнсис всем своим видом выражает такую непоколебимую уверенность, что почти выбивает пол из-под ног Серласа.

Что еще могло ждать бродячего бедняка с младенцем на руках, кроме очередной беды? За словами добрых людей обязательно кроется что-то страшное, и не ему, Серласу, забывать о подлости и лицемерии людского рода. В этот раз, думал он, судьба его не оставит.

– Я слышал, той ночью сожгли деревенский паб, – рассказывает Фрэнсис. Верить его словам или нет, Серлас не знает. Хочется закрыть уши руками, закрыть глаза, чтобы не видеть грязных вспотевших лиц, что сейчас ничем не

отличаются от его лица.

– Ага, и хозяин погиб, – подсказывает капитану Бертран. – Крыша обвалилась и придавила беднягу. А у него было вкусное пиво, помнишь?

В Фените был только один паб. И Серлас не слышал, чтобы в ночь побега тому досталось. Эти люди врут, не иначе.

– Говорят, старик Сайомон прикрывал чужака, – сплевывает под ноги безжалостный Бертран и теперь глядит на Серласа с неприкрытой враждой. Вот что крылось за его темнеющим взором: злоба, такая же простая и глупая, какая жила в сердцах Дугала и Кие-рана Конноли, братьев Данн из Фенита, половины жителей Трали. Такая же глухая к доводам разума, почти первобытная и, должно быть, навязанная. Серлас искренне верил, что темные чувства рождаются из маленькой искры, но набирают силу только лишь благодаря чужим сплетням и слухам. Что по-настоящему злых людей на свете преступно мало. И Бертран не входил в их число.

Но теперь он глядит на Серласа с пугающей злостью, и того, чужака и бродягу, обязательно сбросят в воду или сдадут вооруженным солдатам французского флота ради наживы – или же по простой прихоти.

Раньше, до смерти Нессы, Серлас решил бы, что у каждого человека на борту гукара есть своя причина не терпеть ирландских попрошаек. Теперь же ему кажется, что многие из них сдали бы малознакомого мужчину с ребенком только ради забавы.

– Я не жег пабов и не убивал людей, – произносит Серлас, пытаясь сохранить твердость голоса. Клементину он придерживает одной рукой, а свободной шарит по поясу дряхлых штанов. У него должен был остаться кинжал у пряжки ремня, Серлас взял его только этим утром!

– Говорят, тот преступник поджег свой дом в Трали, – растягивает слова Фрэнсис. – Говорят, его жена умерла в огне, а он забрал ребенка – девочку – и сбежал. Твоего сына зовут Клемент, верно?

– Я ничего не поджигал! – в отчаянии кричит Серлас. – Никого не убивал, никого и пальцем не тронул!

Команда корабля с капитаном во главе только ухмыляется.

- Да, но французишки этого не знают...

Кинжала нет. Серлас вымученно прикрывает глаза - солнце слепит так сильно, что перед взором все плывет и белеет, точно волосы и усы капитана Фрэнсиса. Его команда наступает на бедняка с ребенком, сужает круг.

- Какое дело французам до ирландского поджигателя? - выдыхает Серлас.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Имеется в виду Росс Полдарк, главный герой романов английского писателя Уинстона Грэма, хромавший на одну ногу и потому иногда пользующийся тростью.

2

Теодор Роберт Банди (Тед Банди) - американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки.

3

Дэвид Марк Чепмен – убийца Джона Леннона, участника группы The Beatles.

4

Fear (гэльск.) – мужчина, мужик.

5

Термин «виски» происходит от кельтских выражений uisce beatha и uisge beatha (произносится примерно как «ишке бяха»). Дословно выражение переводится как «вода жизни» и, возможно, является калькой с латинского aqua vitae.

6

Томас Дьюи – прокурор штата Нью-Йорк в 1936 году.

7

Праздник Тет, полное название Тет нгуен дан (дословно «праздник первого утра») – вьетнамский Новый год по лунно-солнечному календарю; государственный праздник во Вьетнаме, самый важный и популярный праздник в стране.

8

Дейл Бартоломью Купер – вымышленный персонаж телесериала «Твин Пикс», специальный агент ФБР.

9

«Who Wants To Live Forever» – песня из репертуара группы Queen.

Купить: https://tellnovel.com/han_kseniya/glaza-kolduna

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)